



Михаил ЯСНОВ

Михаил ЯСНОВ

Отчисти

Отчисти

Михаил Яснов

Отчасти

Избранные и новые стихотворения

Санкт-Петербургская общественная организация
«Союз писателей Санкт-Петербурга»

2013

УДК 82
ББК 84 (1Рос=Рус)

*Издание выполнено при поддержке
Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации
Санкт-Петербурга*

Яснов М. Д.

Я 82 Отчасти: Избранные и новые стихотворения. — СПб.: Санкт-Петербургская общественная организация «Союз писателей Санкт-Петербурга», 2013.— 432 с.

Михаил Яснов (р. 1946) — поэт, переводчик, детский писатель. В книгу «Отчасти» включены избранные произведения, написанные в разные годы, а также не публиковавшиеся прежде и новые стихотворения.

УДК 82
ББК 84 (1Рос=Рус)

ISBN 978-5-9676-0467-6

ISBN 978-5-9676-0467-6

© М. Д. Яснов, 2012
© ИД «Петрополис», 2012

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
1968–1990**

ЯЩИК СТЕКОЛЬЩИКА

ТОЧИЛЬЩИК

Григорию Гладкову

Уличный точильщик
нажимает педаль.
Вертится серый камень,
пористый, как миндаль.
И огромный ножик —
инструмент мясника —
прижимается к камню
легче волоска.

Выходит из дома дворник,
широкоплеч и высок,
он в огромной ручище
несет глубокий совок
и огромной метлою,
что великану под стать,
маленькие листики
начинает сметать.

Идет по асфальту собака
и грозно глядит вперед,
и крохотную улыбку
на могучей морде несет.
Радости и печали —
вместе, давным-давно,
маленькое с огромным
тесно переплетено.

И от их сопряженья
крутится круг времен,
и возникают искры,
и звенит небосклон.
Но огромный точильщик
знает об этом едва ль
и все нажимает ногою
на маленькую педаль...

ЯЩИК СТЕКОЛЬЩИКА

Ходит по городу рыжий стекольщик. Висит у него на спине сказочный ящик на толстом лохматом ремне.

И по утрам с незапамятных пор небо верхом на стекольщике шумно въезжает во двор.

Ящик стекольщика — планки, дощечки, бороздки, этот магнит, на который бегут из подъездов подростки, — вот он стоит посередине двора, а стекольщик слоняется рядом, шаря по окнам внимательным взглядом.

Стекла сверкали под солнцем, — и я вспоминаю:

«Сте-е-екла вставля-я-яю!..» звучало как «Со-о-олнце
вставля-я-яю!..»

Стекла давили друг друга невидимым грузом.

Стекла, как яблоки, в стружке — с хрустальным надкусом.

Самые тонкие — стекла оконные — с блеском;
стекла потолще; особое место — стеклянным обрезкам;
самое толстое — с гладким и радужным краем —
мы покупаем!

Это стекло со следами сырими
туч, отражавшихся в нем, где сверкал в исчезающем дыме
маленький, сбоку, стремительный скол,
мама купила на письменный стол.

Сколько хлопот мне стекло это в детстве доставило!
Руку сгоняло с тетради, каракули правило,
то в небеса ускользало ковром-самолетом,
то распевало весенним дождем как по нотам...

Не оттого ль, точно ящик стекольщика, полон мой
письменный ящик
звоном и гулом гортанных, губных и свистящих?
Не оттого ль наяву и во сне
небо, как рыжий стекольщик, ношу на спине?

ПЕРВЫЕ ДРУЗЬЯ

Друзья мои —
жужелица и навозник, плавунец и усач,
малярийный комар и кузнечик,
шмель, улитка и божья коровка,
тля, мохнатая гусеница, мотылек, стрекоза,
и вершина всего мироздания —
майский жук!

Я вас гладил по головкам,
щекотал вас под мышками,
которых было видимо-невидимо,
расчесывал вам усики,
пыль сдувал с ваших лат,
начищал ваши панцири
и с опаской вам гладил брюшки.

Ночью вы расплзались по моей кровати,
как по чужой планете,
вылезая из ракет —
коробков, пузырьков, банок, —

исследовали каждую складку на простыне,
каждую впадину на пододеяльнике,
мужественно взбираясь на горные пики моих коленей.

Друзья мои, если так случится, что природа вспомнит
о своих первых порывах
и вы окажетесь хозяевами земли, —
сохраните в своих незыблемых генах
память о маленьком заморыше
с большим сачком.

Я шевелил над вами лапками, расправлял
еще непрорезавшиеся усики,
покрывался пыльцою веснушек,
заворачивался в огромные лопухи,
молчал, молчал, словно куколка,
чувствуя, как прорезаются крылья, —
и лишь по чистой случайности не взлетел.

Как я рад, что какой-то долей мгновенья
успел прикоснуться к вашим тысячелетиям,
которые вы перебираете травинку за травинкой,
все так же, все те же —
великие существа с крохотными глазами, —
как я рад, что успел
краем глаза в ваш мир заглянуть!
О, этот мир:
Ниагара капли,
Эверест боярышника,

Сахара поселка,
Байкал росинки,
Гольфстрим смолы, —
вернись!

1951

...комната, где кресла
в чехлах, на босу ногу, словно дети
в ночных рубашках, шествуют из спальни
на кухню; где в пожухлые газеты
обернуты старинные гравюры
на стенах; где гардинным полотном
укрыт диван — все валики, подушки
и пуфик в изголовье; где на окнах
задернуты — сначала занавески,
за ними тюль, а после тяжкий бархат,
спустившийся на тоненьких веревках,
подобно парашюту; под стеклом
забытые невидимые книги
покрыты желтым крафтом, и рояль
стоит, как лошадь черная, в попоне,
и дверь в другую комнату закрыта
на внутренний замок и на висячий, —
так возвращались после долгих трех
огромных летних месяцев, и детство
вдыхало мятный запах нафталина,
и сердце замирало, будто знало,
что осень — лишь метафора беды.

НОВЫЙ ГОД

С Новым годом! С Новым годом!
Елка пахнет спиртом, йодом —
я в компрессе, я в кровати,
я, как елка, в белой вате.
Тихо крутится пластинка,
вот тебе и праздник: свинка.
Свинка в самый Новый год —
не везет!

Грустно смотрятся с подушки
новогодние игрушки.
Робко делает попытки
мандарин сорваться с нитки.
Птица крылышком картонным
машет в сумраке зеленом.
И горит совсем ничей
свет свечей.

Но зато за дверью самой
ходят-бродят папа с мамой,
и звенят бокалы тонко,

и спешит ко мне сестренка...
Всё спокойно. Всё знакомо.
Возле. Близко. Рядом. Дома.
И в кроватке кот со мной.
 Всё в порядке:
 я — больной!

ПОСЛЕ

Послевоенный город —
на Фонтанке гранит расколот,
на Садовой кладут брусчатку,
посыпают ее песком.
Вижу кирпичную кладку —
в красных заплатах дом.

Послевоенные вывески —
желтые, словно вырезки
из позапрошлых газет.
Буквы на тумбах, табличках,
пачках из-под сигарет,
ложках, фантиках, спичках.

Послевоенные книжки —
серые, как мышки.
Бумага в черную крапинку,
корешки нагишом, —
страшно оставить царапинку
чернильным карандашом.

Послевоенные игры —
эти «катюши», «тигры»,
гильзы, красные звездочки
и кокарда на шапке,
и превосходные косточки
со взрослым названием «бабки».

Послевоенная улица —
очереди волнуются.
Всюду, как наводнение.
Куда ни забредешь, —
сталкивание, кружение
бот, башмаков, галош...

После, после, после —
послевоенное детство:
дом мой, мое гнездо.
Осталось тебе в наследство
все, что случилось — до:
уголки, позолота —
довоенные фото.

Какая там жизнь нарядная,
веселая, неоглядная,
таинственная, громадная,
бессмертная, доблокадная,
какою и наша будет —
если войны не будет.

ОТПЛЫТИЕ

Сносят бани — шум на весь район!
Сносит бани по реке времен,
мимо быстротечной маяты
к райским кущам вечной чистоты.

Сносят бани. Мы уже плывем
вдоль простенка с выбитым окном,
через день — вдоль остовов печей,
через два — вдоль груды кирпичей.

Утонули, скрылись, не вернуть
очереди, шайки, жуть и муть,
ржавый душ, изогнутый дугой,
пол бугристый под босой ногой...

Всё, нахлынув, медленно стекло:
словно через банное стекло
еле виден с мелочью лоток
и под шапкой проклятый платок.

Завсегдатай ненавистных бань,
ты свисток на улице достань, —
может, я услышу этот свист,
разносящий весть: «Я чист!.. Я — чист!...»

Мама снова отберет свисток
и заправит уши под платок.
По Фонтанке, с тазом и бельем,
вы идете... Чистые! Вдвоем!..

По Фонтанке сносит грязь и прах,
а по берегам, на пустырях,
маленькие тени, там и тут,
как дымки, над гравием плывут...

СЧИТАЛКА

Тазик с дыркой для гвоздя,
фотография вождя,
старый дворик, новый дом,
утром — солнце за окном,
звон резиновых мячей,
запах елочных свечей,
Левитана грозный бас,
«А у нас в квартире газ!»,
россыпь каши по лугам,
«Ба-ка-ле-я» по слогам,
шум, гудки, курантов бой,
линза с пробкой и водой,
промокашка, пресс-папье,
Пушкин, «Сказка о попе»,
Михалков, Житков, Маршак,
школа, парта, красный флаг,
«Рио-рита», патефон...

Детство, детство, — выйди вон!

Я В ХОРЕ ПЕЛ

Я в хоре пел! Какое время было!
Как за душу брало и как знобило!
Как зал глядел! Как было горячо!
Как мучило соседское плечо!
Как сладко разливалось фортепьяно!
Как было мне просторно — и обманно!
Как жгло гортань! Как ликовал язык!
Как звук переходил внезапно в крик!
Какие песни были! Как нам пелось!
Какая подступала к горлу смелость!
Какой восторг пульсировал в груди!
Какая жизнь вставала впереди!
Как жаль, что юный голос мой сломался.
Как жаль, что петь я больше не пытался.
Быть может, тот восторг, простор и крик
вернулись бы ко мне — хотя б на миг!

ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ

Проходными дворами я к дому бежал от шпаны.
От стены до стены —
два-три метра, булыжник, набросанный мусор, кошачьи
тени, запахи...

Если припомнить точнее — иначе:
проходными дворами я к дому бежал от шпаны,
сотни метров отчаяния, лабиринты животного страха,
мусор детства, худые ботинки, штаны,
разорванные с размаху
о торчащий из грязной поленницы гвоздь.

Сквозь
лабиринты проходов, потом напрямик по дровам,
по древесным уступам, по толем покрытым горам,
по сараям, по крышам, в какой-нибудь лаз неприметный,
в узкий угол, где свален стальной или медный
лом,
напрямик, через черный подъезд, напролом,
сквозь могучие заросли запахов кухонь чадящих,
в полусумрачных чашах
подворотен,
в которых ворота запирались на огромный изогнутый крюк, —

и опять в дровяных переходах сплетая, как хитрый паук,
паутину побега,
взахлеб, напрямик, наудачу
проходными дворами я к дому бежал от шпаны.
Если вспомнить точнее — иначе:
проходными дворами я к дому бежал от войны.
Сквозь неловкое детство — и кровь ударяла в виски —
проходными дворами я к дому бежал от тоски
одиноких гуляний, бежал проходными дворами
дни за днями,
как подпасок на звук колокольчика в чаше заблудшей коровы,
за тревожащим школьным звонком,
чтоб буренку чернильную за рога научиться хватать...
Проходными дворами опять
прохожу, пробегаю —
сколько лет пролетело подобно гремящему на перекрестке трамваю,
и зарос паутиною памяти школьный звонок!
Одноклассник матерый выводит детей на прогулку
проходными дворами, заученными назубок.
Но когда я иду по безмолвному переулку
и выхожу на асфальт проходного двора —
начинается та же игра.
И опять я бегу по дворам,
по древесным уступам, по толем покрытым горам,
по сараям, по крышам, в какой-нибудь лаз неприметный,
в узкий угол, где свален стальной или медный
лом, —
и все дальше и дальше,

все дальше и дальше

мой дом...

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Яблоко-Гулливер, сорта «Джонатан», посланец Свифта,
лежит на прилавке, улыбается во весь рот.

Рядом с ним его высокая свита:

у карликовой антоновки в черных значках живот.

Султаны петрушки и сельдерея свешиваются к ногам,
окружены шелухой подсолнуховой, как владыки — рабами.
Запах фруктов, запах детства, рыночный шум и гам,
малиновые гранаты лоснятся, как дядьки в бане.

Рынок воскресный, толкучка, праздничный вавилон,
подобно всемирной истории, загадочен, перепутан.
В сетку арбуз не влезает, как в свою эпоху — Вийон,
кот под прилавком яблочным сидит терпеливо, как Ньютон.

А я прохожу мимо, а мимо проходят лица,
проходит детство, проходит отрочество... Поберегись, отойди!
Я пока могу еще только попробовать, прицениться.
Я пока еще сыт облаками.
У меня еще все впереди!

* * *

Талантливые мальчики конца пятидесятих —
уже по школам, как велось, портреты не висят их,
и свет медалей выпускных на бархате коробок
померк при серебре седин и золоте коронок.

Давно идет печальный счет дорогою истертой:
спились и первый, и второй, и третий, и четвертый,
и предал пятого шестой, как верный соглядатай,
и за бугром седьмой, восьмой, девятый и десятый.

Талантливые мальчики уходят без оглядки.
Я, слава Богу, уцелел: я во втором десятке.
Покинув старые дворы, подъезды, подворотни,
идет десяток наш вперед навстречу черной сотне.

Уже остались позади и трусы, и герои.
Уже осталось нас, как встарь, то ль четверо, то ль трое.
Но давний опыт не избыт и не забыты строчки, —
а это значит: как один, умрем поодиночке.

* * *

У швейной машинки — ни дня передышки:
карманы, манишки, рубашки, штанишки.
Машинка поет от зари до заката:
«Ци-та-та, цита-та, цитата-цитата!...»

Так дальше и вышло — с повтором, с оглядкой
на ближние судьбы над детской кроваткой:
на фото ушедших и канувших в ночь —
узнать, не забыть, пережить, превозмочь...

В соседней квартире и в дальней Сибири —
езде наши матери шили-кроили
из легкого фарта и мелкой удачи
мальчишкам — одежду, мужьям — передачи.

О чем я? О том я, что знался с утратой,
что стала судьба моя скрытой цитатой
из общей судьбы, и с годами трудней
себя обнаружить и высмотреть в ней.

И вправду, оглянись — как мы похожи:
все тот же, все та же, все те же, все то же!
Смотрю, повторяя, как в детстве когда-то:
— Цитата... Цитата... Цитата... Цитата...

* * *

Мы выросли на лагерном жаргоне,
и куклам телеотроческих грез —
Телевичку, Гурвинеку, Жаконе
нас перевоспитать не удалось.

Уже с утра дворовые словечки
вздымали пыль, замешивали грязь,
и деревянный чижик на дощечке
взлетал, на всю округу матерясь.

Родная речь — чердачная воровка
пихала в сумку стибренную кладь.
Чернильная вросла татуировка
в измученную школьную тетрадь.

Мы, как слепцы, указкой в карту тыча,
шагали вдоль лесов, полей и рек,
и низкое, как старт, косноязычье
нас отправляло в праздничный забег.

Беги, беги под стук секундомера
по Дантовым кругам родной страны,
где речи пионера и премьера
в своей беспечной скудости равны.

Беги, беги, рассчитано толково:
мы все такие — я и сам такой! —
чтоб от одышки не сказать ни слова,
лишь на бегу махнуть на все рукой.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

У нее была толстая мама с прокуренным басом
и папа-художник с допотопным мольбертом.
Мама верховодила нашим классом,
а папу, которого звали Альберт, мы дразнили
«Мольбертом».

Альберт Семеныч рисовал городские пейзажи,
а мама ставила с нами спектакли.
Помню премьеру: все в костюмах, я же
почему-то с одной бородкой из пакли.

Помню, эта бородка всех насмешила —
падала, мне становилось неловко.
Папа-художник носил с собой ножик и шило
и ловко к моей бородке приделал веревку.

Папа-художник недавно вернулся неизвестно откуда.
В квартире их было пусто и голо.
Однажды, когда у дочери случилась простуда,
к ним завалилась чуть ли не вся школа.

Оказалось, папа рисует для школы портреты Ленина и делает это совершенно бесплатно.

Помню, девочку звали Леной. Мама Ленина замечательно выводила чернильные пятна.

Мама была вездесуща: с утра и до ночи металась по нашей улице с какими-то свертками. Под вечер мы встречали Мольберта Семеныча — он возвращался домой, как правило, с водкою.

Оказалось, папа пьет, и с темна до света мама шьет — под боком была барахолка. Потом барахолку закрыли. А в школе портреты, помню, еще висели долго-долго.

Помню какой-то вечер, школьную сцену, маму ее за кулисами, папу в зале... А вот кого я не помню, так это Лену, — всплывает нечто курносое и с глазами.

Было, сплыло... Видели — как не видели. Что-то мы там сыграли, и нам аплодировали...

Наше отрочество было пристально к нашим родителям. Много позже мы их реабилитировали.

МАМА

У прохожих на виду
маму за руку веду.
Мама маленькою стала,
мама сгорбилась, устала,
мама в крохотном платке,
как птенец в моей руке.

У соседей на виду
маму в комнату веду.
Подведу ее к порогу,
покормлю ее немного,
уложу поспать в кровать.
Будем зиму зимовать.

Ты расти, расти во сне —
станешь ласточкой к весне,
отдохнешь и отоспишься,
запоешь и оперишься,
и покинешь теплый дом,
и помашешь мне крылом...

У прохожих на виду
маму за руку веду.
Мама медленно идет,
ставит ноги наугад...
Осторожно, гололед!
Листопад...
Звездопад...

КОРНИ

Чем к старости ближе, тем ближе к земле.

В глине, в золе,

мамины пальцы корнями корявыми стали,

мамины пальцы в железный суглинок врастали,

рыли, рыхлили, пололи,

корчась от боли,

сад свой растили, свой крохотный огород.

И вот —

по уголкам ленинградской студеной земли

десять апостолов веру свою разнесли.

Десять апостолов, каждый навьючен годами,

шли не спеша, отдыхая в какой-нибудь яме

между корней, корешков, корневищ, пробираясь неведомой

тропкой в корнях.

Мама моя Огородница медленно шла на коленях

следом за ними, пока

десять апостолов шли вдоль стены сорняка —

рыли, рыхлили, пололи, подгнившие листья срывали,

шли, а в земле созревали

сладкие северные плоды: лук, петрушка, редиска,

да свекла...

* * *

Как важно родиться в том городе, где...
Как важно учиться в том классе, в каком...
Как важно водиться с той братией, что...
Родись ты не здесь и учись ты не там,
води ты компанию вовсе не ту —
и вот ты никто, и нигде, и никак.
А если даже — то и тогда.



СМЕРТЬ ПОЭТА

Не звонил ему никто.

Он лежал в постели жаркой
рядом с книжной этажеркой,
положив на одеяло
неподвижное пальто.
Вечерело. Холодало.
Не звонил ему никто.
В поликлинике сначала
не давали бюллетеня,
а потом он перемогся:
думал — осень на носу,
начались грибы в лесу,
и от службы по Вуоксе
был байдарочный поход.
Он поехал, перемогся,
перемаялся — и вот
закрутил его недуг,
и внезапно умер друг.

Все потом припоминали,
где его в тот день видали.
Выходило, как всегда,

в заведении питейном
(угол Невского с Литейным),
наверху, в «Аэрофлоте»
(где вы часто кофе пьете),
в Доме книги, возле Люси
(с толстой книгою во вкусе
примитивном, как всегда).
Вспоминал усердно кто-то,
что сказал он в этот день:
выходило так ничтожно,
что и вспомнить невозможно, —
что-то вроде анекдота,
в общем, дрянь и дребедень.
Вспоминали те стихи,
что читал он в поза-поза-
позапрошлый выходной:
выходило, просто поза,
и при этом слог дурной.
Впрочем, был он милый малый.
Было жаль его, пожалуй.

Не звонил ему никто.
А Ткачиха с Поварихой,
с сватьей бабой Бабарихой —
весь набор соседских душ —
та пускала в ванной душ,
та бродила по квартире,
та кричала невпопад.
За стеною кум и сват

обсуждали, что в Каире
говорил Анвар Садат,
и куда поехал Никсон,
и куда поехал Нюксон,
и куда поехал Няксон,
про валютный кризис тож.
Так в последний раз глагол
слуха чуткого коснулся,
но поэт не встрепенулся:
был он немощен и гол.

Не звонил ему никто.
Пахли мерзостью ботинки.
Начался под вечер бред.
Вместо пищащей машинки
на столе сидел скелет.
И сочились вразнобой
ненаписанные строчки
из листа, как черный гной
из разорванной сорочки.

Не звонил ему никто.
Гарик был с женой на даче.
Маша с мужем не иначе,
как машиной разживались.
Волик с Аней разъезжались.
Славик лазил по тайге.
Марик лазил по знакомым.
Был Володя вдалеке,

а Регина просто дома.
Петя с девушкой скучал.
Витя Рильке изучал.
Вася пил. Борис молчал.
Николай ногой качал.



НЕМОЕ КИНО

ПОЗДНИЙ ПЕРЕЛЕТ

Стоит июнь. С утра до ночи
летит на землю тощий дождик.
Висит над вымокшим газоном
дурман проснувшейся травы.
У нас на кухне, между окон,
соседки держат голубенка:
он полинял немного к лету
и стал, как снег вчерашний, бел.

Вчера, вчера... Вчера лишь только
я целовал твои ладошки —
сегодня на моей ладони
пора читать следы судьбы:
как будто птица постояла
одною лапкой — и взлетела,
а на ладони — отпечаток,
как на снегу или песке.

Вчера я видел: птичья стая
куда-то к северу летела.

Пожалуй, время перелетов
уже закончилось. Она,
как я, от времени отстала
и наверстать стремилась лето.
Я не стремлюсь: я днем вчерашним
еще живу, еще дышу...

Вчера я был в гостях. Профессор
сидел, нахохлившись, под лампой
и медленно луцил орешки
ядренных истин. А кругом
птенцы веселые резвились,
и одинокий пролеталец
кричал: «Пора!.. Настала осень!..
На юг!.. На юг!..» И улетел

в окно. У нас июнь. Профессор
открыл пошире обе рамы.
Стучал будильник о решетку
железным клювом. На стене
в стеклянной клетке птица Гете
чуть слышно пела по-немецки,
и по-английски птица Байрон
ей отвечала сквозь стекло.

И птица Хлебников свистела,
и птица Гельдерлин звенела,
и, заглядевшись на окошко,
молчала птица Пастернак...
Где ж ходит он, веселый Дидель?

Давно в Тюрингии медовой,
давно в Саксонии сосновой
травой тропинки поросли...

Профессор медлил. Понемногу
он распахнул за клеткой клетку —
и разлетелись наши птицы,
и полетели кто куда.

И птица Рильке взмыла в небо,
и птица Брехт пропала в тучах,
и опустилась на плечо мне
седая птица Мандельштам...

Как шумно в мире! За стеною
прошел на цыпочках котенок.
В буфете звякнули стаканы.
Из крана капнула вода.
Профессор встал, расправил крылья
и полетел вдоль книжных полок,
и я, следя за ним, увидел,
что он, как снег вчерашний, бел.

Меж тем, мои соседки кормят
пшеном отборным голубенка.
Мне пишат ворон и синица,
и даже старый какаду.
А ты, по-прежнему, — ни строчки.
А куры, индюки и гуси
уже с утра опять горланят...
Ни рук твоих, ни губ. Тоска.

Пора! На улице все так же
мурлычет дождик. Спозаранку
проглянет солнце и начнется
обычный день. Часу в шестом
засвиристыят в листве собратья.
Ни губ твоих, ни рук. Пожалуй,
пора на север. Догоню ли
ту птичью стаю?.. Но куда,

куда же мне лететь?

УЧИТЕЛЬ

Памяти Алексея Михайловича Адмиральского

Я помню больницу, в которой лежал
мой друг, мой учитель. Так было.
За окнами ветер скрипел и визжал,
дыханьем стекло залепило.

Трясло наш автобус. Качались вразброс
десятки баулов и сеток.
Под Гатчиной снег все дороги занес.
В него мы сошли напоследок.

Приехали рано, часам к десяти.
Стоял за деревьями корпус.
Ветрило, и снег заставлял нас идти,
закутавшись в шубы и сгорбясь.

Ни звука за дверью, и в окнах темно.
Однако открыли нам вскоре.
Больным в это время крутили кино.
Была тишина в коридоре.

Мы ждали, пока нам войти разрешат
под своды огромной палаты.
В конце коридора трещал аппарат.
Нам долго искали халаты.

И вот мы вошли, чтобы сесть на кровать,
и здесь, не промолвив ни слова,
в чужом человеке с трудом узнавать
черты и приметы родного.

Он клал полотенце на высохший лоб,
и было нам жутко обоим,
когда поминутно он кашлял взхлеб
и сплевывал легкие с гноем.

Сказал мой товарищ: «Ты нынче неплох...»
В ответ — ни движенья, ни вздоха.
Больной нас оглядывал медленно... «Ох,
как плохо, — сказал он, — как плохо!..»

Еще мы не знали, следя, как вразброд
Больные снуют вдоль палаты,
Что это случится: умрет он, умрет
В канун символической даты.

Сенатская площадь. Декабрьский мороз.
Перхота картечных салютов...
Под Гатчиной снег все дороги занес,
Века и часы перепутав.

Я помню то время — за дальней чертой,
вернее, за замкнутым кругом, —
когда во Дворец пионеров, зимой,
пришел он заведовать клубом.

В то время, горластых, нас было не счесть,
и в тяжбе с абстрактною ложью
такие понятия, как долг или честь,
нам были всех прочих дороже.

Какой был восторг — прибежать, принести
полмира в словах угловатых,
когда мы сходились в начале шести,
в начале шестидесятых!

Он стулья носил. Он сажал нас за стол.
Он дверь открывал без опаски.
Он с нами беседы высокие вел.
Он был настоящей закваски.

Еще мы не знали, что не было сил,
что времени выпало мало...
«Нас пестовал Пестель, Рылеев растил», —
как Таня когда-то писала.

Я помню то утро, когда мы гурьбой,
внезапную горечь изведав,
стояли у гроба. Молчал за спиной
холодный канал Грибоедов.

Стояли у первых незримых дверей,
как буквы в одном алфавите,
Володя, и Лена, и Марк, и Андрей,
и Коля, и Гена, и Витя...

Как много нас было! Любой нам был друг,
и шире не виделось круга.
Куда все девалось? Как замкнут наш круг!
Как мы далеки друг от друга!

А там, в той дали, где лелеют простор,
где зрелости ждут — не дождутся,
там катит автобус до Пушкинских Гор,
там все еще песни поются,

там сразу под Гатчиной — все неспроста,
там ссылки, цитаты и сноски,
там наших стоянок таятся места,
там наших стихов отголоски...

Но голос далекий травую порос,
но пеплом покрыта страница...
Под Гатчиной снег все дороги занес,
и негде от ветра укрыться.

* * *

Владимиру Пашковскому

О дружеские встречи, беседы и вино,
решения под вечер отправиться в кино,
программы и газеты, и споры впопыхах —
и вот уже билеты лежат у нас в руках.

Но выяснилось в зале, — история проста! —
что мы билеты взяли на разные места,
и сели чин по чину в три разные угла,
и спешка за причину посчитана была.

Вот кто-то на экране запел и зарыдал,
тот — умер, этот — ранен, а третий — проиграл.
Кому-то было туго, кому-то — благодать.
Кому-то было друга в толпе не отыскать...

Но все сидели в зале спокойно — кроме нас:
искали мы глазами друг друга весь сеанс.
Как будто кто добьется ответа на вопрос:
ну, как тебе — смеется? И плачется ль всерьез?

Вот так мы проглядели, прошляпили кино,
и было в самом деле и грустно и смешно.
И что там перед нами?.. Какая благодать?..
Все вертим головами: друг друга не сыскать...

* * *

Как начинался русский футуризм?
Вот Лиля Брик когда-то написала
о сестрах Синяковых. Пять сестер —
девицы эксцентричные — в хитонах,
с распущенными вечно волосами
гуляли по украинскому лесу,
пугая всю округу... Пастернак
влюблен был в Надю, а Давид Бурлюк —
в Марию, в каждую из пятерых —
поочередно — Хлебников, Асеев
женился на Оксане... Так возник,
как весело писала Лиля Брик,
в их доме футуризм.

Начало века,
приманивая, было втихомолку
греховно, и за широкою течений,
литературных школ и живописных,
стояла обнаженная царица
и свой вершила легковесный суд.
Так распадался символизм.

Метался
ревнивый Белый. Шел к дуэли Брюсов.
И, губы сжав, пророчествовал Блок...

А где же наши женщины, дружок?

Кто будет музе верною сестрой
и оживит безвыходное слово —
безмолвная крестьянка на Сенной
иль карлица, ведущая слепого?

В искусстве сходство каверзное есть
с изысканной и милой одалиской,
что дарит нам высокую болезнь,
смешав ее с постыдною и низкой.

* * *

Ты возвратилась в этот пасмурный,
туманный город над рекою —
с далекою пропиской в паспорте,
с уже далекою судьбою.
И юности твоей видения,
и зрелости твоей приметы,
как сфинксы возле Академии,
возникли,
выплыли из Леты.

Пух тополиный, пух малиновый,
плывя под ветреным закатом,
на яркий твой рукав сатиновый
ложится тихим снегопадом.
И, сев с тобою на ступени, я
гляжу, как над мостом пустынным
приметы эти и видения
взлетают пухом тополиным.

Над нашей родиной асфальтовой
лети, лети, не уставая,

и все, что прожито, осматривай
из окон старого трамвая.

Лети, лети, покуда магия
былого

теплится в ладошке,
лети на отсвет Исаакия,
как мотылек на свет в окошке.

Оборотившись к жизни давешней,
тебе я снова присягаю —
на старой площади и набережной,
вдогонку твоему трамваю.

И юности моей видения,
и зрелости моей приметы
прозрачным пухом возрождения
окутывают парапеты.

ТРАНСПОРТНАЯ ХРОНИКА

В связи с ремонтом эскалатора
толпа к трамваю привыкала.
Куда как северней экватора
куда как сильно припекало.

Сушились на веревке простыни,
на подоконниках — матрасы.
Проспект был огорожен досками
в связи с прокладкой теплотрассы.

Свернул на улицу, где шеями
вертело множество народа:
мы шли, прижатые траншеями
в связи с починкой водовода.

Потом я перебежкой ловкою
пролез в проезд, пробиться силясь, —
но там в связи с асфальтировкой
катки могучие катились.

* * *

В подвале принимают
вторичное сырье.
Сюда приносят люди
тряпичное старье.
Им продают за это
шампунь и пипифакс —
все то, что производят
француз и англосакс.

Да здравствует старьевщик
и — как там ни крути —
система с натуральным
обменом во плоти,
когда-то знаменитым,
прославленным не раз,
а нынче позабытым
и сказочным для нас.

Когда б еще, как в сказке,
сумел я обменять
все то, что понимаю,

на то, что не понять,
а города, где не был, —
на города, где был,
и возраст равнодушья
на юношеский пыл...

Зовет меня старьевщик,
бородку беребя,
и достает пергамент
в углу из-под тряпья,
несет за уголочек
колючею рукой,
и всех трудов-то — подпись
под нижнею строкой.

Ах, красные чернила,
казенная печать!
Да вот с пером гусиным
никак не совладать!
И что-то мне ни слова
не видно из-за клякс —
и все-то мне мешают
шампунь и пипифакс!

* * *

Уже скребут лопаты по снегу,
готовя место для подъезда,
и я навстречу утру позднему
спешу из теплого подъезда.

Карнизы льдинами окованы,
пороша каблуками сбита,
уже машины припаркованы
под окнами «Трехглавзмейсбыта».

И вот, гремя дверьми обманными,
спешат на лестничные марши,
дыша духами и туманами,
отчаянные секретарши.

Я вижу, как они за стеклами
по этажам своим расходятся,
их блузки строгие застегнуты,
но сзади вырезы расходятся.

А я блуждаю в одиночестве
по улицам, в тумане тонущим,
и мне туда, за стекла, хочется
хотя бы маленьким змеенышем.

Но муза в полумраке тающем
уже свои диктует песни...
Я, как назло, рожден летающим
и ползать не могу — хоть тресни!

КОТ И ХОЗЯЙКА

Х о з я й к а:

Но я о смерти — все случилось так.
Я умирала. Это был не сон,
а ощущение гибели. Оно
в меня входило. В забытьи глубоко
я чувствовала: нужно пробудиться
немедленно, иначе я умру!
И не могла. Я помню точно въяве
тот ужас, то смятение, с которым
я пробовала вырваться, ожить —
и не могла. И в это время боль
и крик ужасный, крик нечеловечий
мое сознание всколыхнули. Я
от боли и от крика в тот же миг
очнулась и вскочила — это кот,
мой верный кот в лицо мое когтями
вонзился и завыл: он смерть мою
почуял. Он увидел: умираю —
и спас меня, так дико пробудив!..
Иди ко мне, мой маленький спаситель!

Иди, ложись!.. Теперь он спит всегда со мной в постели. Ведь неровен час — вдруг ночью это снова повторится? Но я теперь спокойно засыпаю: я знаю, что со мною рядом — кот.

К о т:

Как мягко! Как тепло! Я так люблю понежиться на ватном одеяле. Теперь я что ни ночь с хозяйкой сплю, а раньше — редко-редко допускали. Когда луна пройдет свой скучный путь и скроется за кромкою окошка, к хозяйке забираюсь я на грудь, мурлыча от восторга, как гармошка. Мне нравится, что спит она, дыша едва-едва, — ну впрямь моя подстилка. И так у ней на шее хороша таинственная медленная жилка! Я, наконец, не выдержал — накрыл ее своею лапой: жилка билась! Я телом лег. Я, не жалея сил, старался, чтоб она угомонилась! Хозяйка захрипела. В тот же миг, как ни пытался я скатиться на пол, но был прижат, и закричал на крик, и все лицо хозяйке исцарапал. Она вскочила. Я готов был рвать отсюда когти, ожидая взбучки,

но был положен снова на кровать,
обласкан, расцелован, взят на ручки!
Хозяюшка, в словах не смыслит кот.
О чем ты говоришь гостям столь пылко?
Как мягко! Как тепло! Как не дает
покоя мне таинственная жилка!

МОСКВАРИКИ И НЕВЫРИКИ

Вдоль Москва-реки ходят москварики —
все начальники ходят, очкарики.
Вдоль Невы-реки ходят невырики —
все молчаливники ходят, все лирики.

Едет поезд, мигая фонариком —
едет в гости невырик к москварикам
и садится, блаженствуя, в скверике,
где гуляют сплошные холерики.

Вдоль Москва-реки ходят москварики,
все грызут пирожки да сухарики.
Вдоль Невы-реки ходят невырики,
с пивом хрупают рыбки пузырики.

И глядят поминутно москварики
кто на часики, кто в календарики.
И неспешно взирают невырики,
как ползут под мостами буксирики.

Не годится невырик в историки —
он гуляет, мечтая, во дворике,
и блажные его каламбурики
охраняют лепные амурики.

А тем временем вертятся шарики —
это думают думы москварики.
И за это их любят невырики
и москварикам шлют панегирики.

МОСКОВСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Александр Михайлович Ревич,
переводчик и старый пиит,
выставляя на стол бутылевич,
говорит, говорит, говорит.

И, входя потихоньку под градус,
переводчик и старый пиит,
с ним Анисим Максимыч Кронгауз
говорит, говорит, говорит.

Допоздна не пустеют стаканы,
день рабочий летит кувырком —
это лечатся старые раны
говорком, говорком, говорком.

И дымит фронтовая траншея,
и ракета, как в песне, горит, —
пьют без умолку, пьют, не хмелея,
переводчик и старый пиит.

Их в застолье поди, объегорь-ка, —
до краев наполняют стакан,
и становится стыдно и горько,
от того, что я молод и пьян...

О московское гостеприимство!
Я в долгу у него, я готов
помянуть его ныне и присно,
а случись — и во веки веков!

И когда я, разлукой ведомый,
под медлительный говор колес,
возвращаюсь в мой город, знакомый —
ведь иначе не скажешь! — до слез,

все мне видится этот дурманный,
этот мирный московский содом,
исцеляющий старые раны
говорком, говорком, говорком...

* * *

Последние утра осенние скрадены
бессонною тучей.
По листьям обугленным шаркают градины
пробежкой трескучей.
Фасады молчат, как ряды карантинные,
потеки желтеют
с атлантами рядом и кариатидами.
И окна потеют.

Как чертики, бегают листья под окнами
вдоль стен, капителей.
Внизу по старинке к подъездам подогнаны
упряжки метелей.
Кончается осень, сырая и сирая,
дорога подмокла.
А ты, по привычке все это фиксируя,
глядишь через стекла.

Ты тоже такой — балюстрада и портики,
подъезд, капители.

А там, где, как правило, бегают чертики, —
очки запотели.

Всем этим ты схож с петербургской постройкою,
ты внешностью вроде
домов наделен: неприметной, но стойкою
к промозглой погоде.

И только внутри все давно перестроено,
все стало попроще:
прибавилось комнат, и этим устроена
полезная площадь.

И лишь наверху, над электропроводкою,
поставленной крепко,
белеет, разбитая перегородкою,
старинная лепка.

Там чье-то лицо, разделенное надвое,
и краешек платья,
и чья-то рука, вознесенная с клятвою,
а может, с проклятьем,
и чей-то неведомый взгляд, очарованный
истертой стрелою,
которую держит амур, замурованный
побелкой слепую.

ШЕЛЕСТ И ХРУСТ НА КАНАЛЕ...

Пряным пахнуло и винным —
первые листья опали.
Между Фонарным и Львиным
шелест и хруст на канале.

Волны забрызгали лодку
под неживым парাপетом.
Блик от воды сквозь решетку
брызнул в глаза рикошетом.

Шелест и хруст на канале,
ряска и пролежни тины.
Звуки, приметы, детали
не образуют картины.

Что же со мной приключилось?
Веет безлюдьем и тленом.
Этой хандры беспричинность
словно напета Верленом.

Где бы еще ни гулялось,
как бы еще ни хотелось, —
все, что судьбе полагалось,
так или иначе спелось.

Серые, грязные груды.
Сирые, грустные дали.
Отзвук шагов ниоткуда —
шелест и хруст на канале.

СТОЛ НАХОДОК

В зеленых лужицах брусчатка,
пожух и съежился выюнок.
Лист, пятипалый, как перчатка,
лежит, оброненный, у ног.

Бредет рассеянная осень,
теряя этот лист и тот,
и в буйном ветре-листоносе
кружит пропажа и плывет.

Царит хаос метеосводок
во славу службы городской
и мой рабочий стол находок
завален пряною листвою.

Пойду пройдушь еще разочек
взглянуть на мокрый белый свет
среди этих дедовских и отчих
окраин, тропок и примет.

Вот лист прикрыл собой квадратик
земли, усталой и пустой, —
мой желтый маленький собратик,
и я такой!... И я — такой!

Я за тобой стою в затылок,
я изучаю, как профан,
весь долгий перечень прожилок,
изъянов, червоточин, ран...

Составив точный комментарий,
собрал былое по годам,
когда-нибудь я свой гербарий
в наследство сыну передам.

НЕМОЕ КИНО

Когда я уеду из мест,
где жил за полвека до смерти,
что вспомню? Я вспомню подъезд,
под аркой, на Невском проспекте.

Как давний пустяк, невзначай,
как кадры немых кинохроник,
я вспомню облупленный рай
размером в один подоконник,

оставшийся чудом витраж,
стеклянные ромбы, как соты,
цветной заоконный пейзаж —
былые края и красоты.

Все помню — и ход на чердак,
и стены, седые от пыли,
и только не вспомнить никак,
о чем мы тогда говорили.

А было же! Точно игла,
колело, вонзенное ловко,
словечко, и до смерти жгла
открытая настезь издевка.

Как будто на стыке культур,
входили в словесные стычки
вершащий судьбу каламбур,
цитаты, отсылки, кавычки...

Нас громко гоняли жильцы,
качали вослед головами,
не зная, что эти юнцы
хмельны не вином, а словами.

Казалось, забыть мудрено —
останется с гаком на старость...
А вышло — немое кино.
Все помню, но слов — не осталось.



ГРУЗЧИК

1

В памяти еще не ослабли
виденья недавних времен, когда утомленья не зная и лени, я
работал в издательстве с веселым названьем «Корабле-
строение».

По утрам в моем переулке останавливался грузовичок,
и шофер Анатолий Иванович, громко выражаясь по-русски,
ждал, когда из подъезда выскочит новичок
в высоком и древнем искусстве разгрузки и погрузки.

Я перемахивал в кузов и, подпрыгивая на уха-бах,
сваливался навзничь, глядя поверх бортов
на старенькие балконы в цветах благоуханных,
на — черным по голубому — клинопись проводов,

на колонны, фронтоны, фризы, карнизы,
на царящие в небе этому небу на
зависть, летящие рядом — без ревности и укоризны —
Ленинград шестидесятых и Петербург Бенуа

(о, эта архитектура вне
витрин, подворотен, асфальта, ногами истертого, —
я город открывал на уровне
третьего этажа и четвертого!),

на атлантов, скрывающих выверенную опору —
для фонарей и портиков — в недрах обветренных тел,
на мраморную фауну, на гранитную флору,
лежа в опилках, на брезенте, замороженно я смотрел.

Я, экспедитор и грузчик славного «Кораблестроения»,
еще ничего не ведающий о своей судьбе,
лежал в трясущемся кузове, счастливый от упоения,
будто стены и крыши перетаскиваю на себе.

Подгибались колени, руки и ноги ломило,
но город я взваливал на спину так — что звенела кровь,
и надрывался от тяжести, и мне непонятно было,
что эту тяжесть на самом деле зовут — любовь.

2

На бумажном складе,
где небо дробилось в огромном, на полпотолка, переплете,
где на карах возили пачки краснолицые дяди
и вручную катали рулоны красноречивые тети,

Анатолий Иванович вокруг машины выписывал кренделя,
приседая и вскакивая и тряся ее вроде копилки,

а я выписывал накладные, складывая и деля,
и пальцы мои синели от холода и копирки.

Рулоны грозили бельмами впечатлительному человечку,
но я, новичок в рулонокатании, — ни шагу назад! —
учился полутонный рулон накатывать на дощечку
и разворачивать его на триста шестьдесят.

И пока Анатолий Иванович ворковал под капотом,
каждый винтик и гаечку облизывая влюбленно,
я загружал машину моим ученическим потом,
в котором плавали баржи пачек и плоты картона.

Вокруг возвышались кипы, меня названьями пичкая,
и, точно указка, тыкалась лапа электрокара:
мелованная, офсетная, типографская, писчая —
из Парижа и Красноярска, Хельсинки и Сыктывкара.

Каждый лист — что пушинка (но наберусь отваги
глянуть во вчерашнее из грядущих дней:
легкие беды мои, как листы папиросной бумаги, —
вместе собравшись, они будут свинца тяжелей).

А как же она резалась — гладкая эта, глянцева,
а особенно писчая — другим не чета!
(Глядя во вчерашнее, начал разбираться я:
нет ничего острее девственного листа).

И там, где только грезилась начала и кануны,
я подсчитывал ссадины и зализывал кровь,

не зная, что эти самые первые меты фортуны,
этот пот и порезы на самом деле зовут — любовь.

3

Во дворе типографии

Анатолий Иванович прижимал машину бортом к окошку —
и по конвейеру плыли в кузов сборники и монографии
с адмиралтейским корабликом, украшающим обложку.

И я, экспедитор и грузчик славного «Кораблестроения»,
ценил успехи морской науки — на штуки и на вес.

А в ливень — опытные мореходы — мы избегали
книгокрушения,
заплывая вместе с машиною под навес.

Сидя в тесной кабине и посматривая, как небо
превращает двор типографии в океанскую пучину,
я отправлялся в таинственное плавание с капитаном Немо:
шофер Анатолий Иванович рассказывал мне Судьбину.

В очередях на базах и складах, в тесных подсобках и во дворах,
какие устные романы сотворялись теми,
кто написанные романы грузил на совесть, а не за страх,
но не видел большого проку в их прочтеньи!

Книжный мир бледнел и съеживался за томом том
и тускнели от зависти отпечатанные страницы,
когда рассказывали жизни не слишком печатным языком
экспедиторы, грузчики, приемщицы, кладовщицы.

Пересекались и путались тропы и развилки
и в семейные хроники превращались помалу,
чтобы выплыть миражем в какой-нибудь курилке
из прогорклого дыма «Беломорканала».

И Анатолий Иванович протягивал мне табачок
в военном кисете, которому нет износа, —
и крепким «Капитанским» попыхивал новичок
в веселом и древнем искусстве пускания дыма из носа.

Попыхивал, глядя в дымку, и прислушивался в оба,
каждое слово впитывая в плоть и кровь
и еще не зная, когда дрожал от озноба,
что этот озноб на самом деле зовут — любовь.



ГАННИБАЛОВЫ ЗЕМЛИ

ГАННИБАЛОВЫ ЗЕМЛИ

Я чрезвычайно дорожу именем
моих предков, этим единственным
наследством, оставшимся мне от них.

А. С. Пушкин

Генерал Ганнибал
горевал.
Девятый десяток пошел
жизни, какой позавидует всяк.
Выкормыш славы Петровой,
смельчак,
фортификатор, строитель
и укреплений смотритель,
вспыльчивый, гневный, суровый,
лихой,
с буйною кровью и бешеной плотью;
перед судьбой
не преклонявший колени,
хоть и
подозревался однажды в измене
(«понеже он человек иностранный»);

познавший Париж и Голландии берег туманный,
а также сибирских морозов опальную крепость,
себя укрепивший, как крепость,
валами и рвами
гордости, славы, —
старик Ганнибал раздвигает руками
ингерманландские травы,
смотрит окрест,
загибает лиловые пальцы:
Воскресенское, Коприно, Пижна, Погост,
Суйда, Мельница, Елицы, Малые Тайцы...
Накопил, накупил — на виду, под столицей:
вот прибавка к чинам и к дворянству, и к прочной семье —
жить на этой земле,
укрепиться, укорениться
и века, точно крепость, стоять.
Если же сыщется снова какой-нибудь тать, —
то-то убежище будет потомкам!
Бродит арап темнокожий по топким
северным тропкам,
земли свои, Ганнибаловы, в мыслях лелея:
Здесь, хорошо бы, — усадьба, а дальше — аллея,
чтоб открывался на речку приятный для старости вид.
Бродит арап и грустит.
Чует душа: размельчат, разбазарят, развеют,
распродадут эти земли его сыновья,
как ни дели, чтобы все получили на равных...
А ведь отыщется внук,
нет, скорее — какой-нибудь правнук:
смуглый, курчавый,

соперничать станет со славой
прадеда, —
если же будет наследство разбито, а то и раскрадено,
что же ему, кроме имени предков, останется?
Бродит арап, погибает лиловые пальцы.
Бродит опушкой
замшелой, шуршащей дубравы...

Желуди Болдинской осени падают в травы.

ПУШКИН. ДВА МОНОЛОГА

1826

Тоска и скука. Бешенство. Тоска.
Тень облаков скользит в тиши предгорий.
Моя тропа осклизла и узка.
И там, где учинял пиры Баторий,
на пажити, роится воронье,
и тень веков ложится на нее.

Цветы и травы, роща, лес и мох
покрыли все, что время отвело им,
все, что ученый муж, скрывая вздох,
печально назовет культурным слоем:
пять метров тлена, праха и земли, —
все, что былые судьбы возвели.

Вот камень — по макушку в землю врос,
как богатырь, застыл в глубокой яме,
и сосны, что растут поодаль врозь,
вокруг него переплелись корнями.
И слой за слоем глина и песок
его сковали с головы до ног.

Тоска и скука. Травы и кусты.
Куда бежать? В каком краю удастся
найти взамен постылой пустоты
родную речь, и дружество, и братство?
Стволы и корни? Волю и покой?
И этот прах и тлен: культурный слой?

И вновь идет один и тот же путь:
Тригорское, Михайловское... Аист,
гортанным ветром наполняя грудь,
скрипит в гнезде. На озеро спускаясь,
горланит цапля. И во все концы
летают пересмешники-скворцы.

Внезапной жизнью оживает луг.
Там птицы собираются на юг.
Сбиваются, взлетают и садятся,
кричат, и мельтешат, и копошатся...
И я бы мог... Лягушки у пруда
опять свое заводят: «Да-да-да...»

1836

А не нарочно ль Батюшков с ума
сошел?.. Нет-нет, не дай мне Бог того же...
Но все же, если вдуматься, — как ловко
и как хитро пойти на поводу
у собственной болезни: пренебречь
законами морали, общежитья
и спрятаться в недуг — от суеты,

от нищеты, от подлости, от скуки...
А Чаадаев? Так ли нужно жить?
Мыслитель, отвергающий земное,
себя уничтожает. Не случайно
ему надели шутовской колпак,
а колокол спокойно заменили
валдайским колокольчиком: звени,
надев хомут, звени, как пристяжная,
в пустой степи без края и конца...
Наивные друзья, к чему спешить?
Нам спешка обернется Голодаем.
Но, черт возьми, ведь нужно выживать!
Иначе кто ответит на вопросы,
в чем смысл Петра и Пугачева смысл,
и есть ли оправданье им, а значит,
и оправданье нам? Иначе кто
сумеет объяснить потомкам нашим,
что и для нас являлось высшей правдой
святое право быть самим собой?
Быть примиренным, — но не примиряться,
пускай, покорным, — но не покоренным,
а главное — живым, живым, живым...
Я жить хочу! Меня манит все так же
весь белый свет, вся благодать земная —
мороз и солнце, дерево и птица.
Откинут полог. Застоялись кони.
Горячий пар клубится над дорогой...

Так трогай, тройка! Трогай, тройка! Трогай!

СВЯТЫЕ ГОРЫ

Ирине Елиной

I

...Вновь я посетил
тот уголок земли, где год за годом
работал выездным экскурсоводом
в те дни, когда берез и сосен шум
еще не перерос в музейный бум.

II

Все нынче ярко, вылощено, броско.
Воронье вече на холмах Изборска
сородичей зовет, как век назад, —
и вот они летят крикливо над
могилой, хоронящейся от тлена
под колпаком из полиэтилена.

III

«Икарус» на развилке, как мутант,
раздвинув двери, выбросил десант,
стремительным гуськом пошедший мимо
заснеженных деревьев, где из дыма,
из выхлопных морозных облаков,
как призраки иных материков,

IV

за тенью тень поплыли, задрожали,
та, вроде, в шубе, эта, вроде, в шали,
миг — и пропали. Но, презрев мираж,
десант калитку взял на абордаж,
просачиваясь к дому за продрогшей,
застывшей на ветру экскурсоводшей.

V

Все стало индустрией. На поток
поставлены подделка и подлог,
готовые служить в музейном раже
простецким чувствам, падким на муляжи.
Все стало куклой, маской восковой —
и лишь экскурсовод еще живой.

VI

Вот так и мы когда-то замерзали,
отогреваясь в полутеплой зале,
и снова — из усадьбы на мороз.
Тот давний путь сугробами порос, —
когда мы шли под липовые своды:
соперники, друзья, экскурсоводы.

VII

В те дни, когда тригорские холмы
вставали из заиндевелой тьмы,
и к Сороти спускался дым прогорклый,
и тек туман над Савкиною горкой,
и морозь застилала окоем, —
что знали мы о будущем своем?

VIII

Меж тем, пленясь свободой от быта,
открыто, боевито, деловито,
как на дрожжах, росло во весь талант
великое понятие: экскурсант, —
мгновенно забивая автотрассы
невиданным скоплением биомассы.

IX

И вот возник автобусный народ,
на два-три дня сбежавший от забот,
от жен, мужей, и службы, и начальства, —
ну как же тут веселью не начаться?
Уже стаканы радостно звенят,
и песня возникает невпопад.

X

А впереди у них еще в запасе
манящая ночевка на турбазе
и тянущий магнитом монастырь...
Торопится замерзший поводырь
и голосом, простуженным и грубым,
привычный путь указывает группам.

XI

Все стало индустрией. На поток
поставлен парк с развилками дорог,
и одинокий дуб и сосен веер.
С утра до ночи движется конвейер,
не различая снега и дождя,
за группой группу с круга уводя.

ХII

Любовь к стихам — неверное занятие.
Но гению открыты все объятия.
Поэт несносен, замкнут, одинок.
А гений всем распахнут, словно Бог.
И, отложив компьютер и половник,
в дорогу собирается паломник.

ХIII

Две-три строки на память знает он,
но общею волною вознесен.
К тому же столько трепета и звона
он с детства слышал с каждого амвона!
А женщины... А сплетни... А Дантес...
Все вызывает буйный интерес.

ХIV

Такая здесь прозрачная свобода,
и так легко прижать экскурсовода,
и эдакое что-нибудь спросить!
А можно и соседей поразить
своей осведомленностью по части
чужой судьбы и стародавней власти.

XV

А может быть, и впрямь, так скуден век,
что эта страсть — не боле, чем побег
из жизни в жизнь, прикосновенье к чуду
иной судьбы, возникшей из-под спуда
обрыдлых дел, — спасительная страсть,
с которой легче выжить, не пропасть?

XVI

Народная тропа не зарастает,
зато наутро в памяти растает.
Автобусный народ всегда богат
совместным знаньем нескольких цитат.
И вера в то, что существует гений,
куда важней его стихотворений.

XVII

Он существует... Он существовал...
«Икарусы» летят за валом вал,
прибоем красным прибиваясь к стенам
монастыря. В молчании почтенном
к могиле поднимается народ.
Вороний крик над городом плывет,

XVIII

а я пейзаж осматриваю местный.
С гостиницы, как с барышни уездной,
строители, ворча, сбивают спесь –
а именно: побелку, там и здесь
отставшую от допотопной кладки,
открыв морщины, оспины и складки.

XIX

Ревет на перекрестке бензовоз;
жует лошадка, фыркая, овес;
магнитофон разносит «Модерн Токинг»,
тинейджера пьяня, как модный допинг;
и школьницы, портфели отложив,
мурлыкают заезженный мотив;

XX

бурчит, спеша к обедне, богомолка;
на склоне развернулась барахолка;
и тихих кустарей опередив,
кич прославляет кооператив;
а под стеной, толпу свою заторкав,
командует напыщенный фотограф;

XXI

судачат бабки, время вороша;
дитя в коляске радостно гундосит...
Судьба моя, ты тем и хороша,
что все в тебе чужого слова просит, —
пока горит в душе, как уголек,
тот уголок земли...



ПРОЩАНИЕ С КОЛОМНОЙ

Петру Брандту

Спущены деньги —
корабль отправляется в плаванье.
Бутылка с шампанским разбита —
не сдать посуду.
Ветер гудит во дворе — надувает парус
окна.

Четырнадцать метров квадратных —
немного для подвигов ратных,
но вдосталь для неприметных
трудов кабинетных.

И все-таки повезло мне
полжизни прожить в Коломне!
Там нитками из шкатулки
торчат мои переулки:
Калинкин, Прядильный, Климов.
И, крыши до блеска вымыв,
дожди ниспадают пряжей
на уличный шум бродяжий.

О рукоделье города,
где иглы спицей воткнуты в подушку
ватных туч,
где на решетках — тучные русалки,
а рядом с ними волны, точно прялки,
где все прядут, и ткут, и режут, и кроят
наряд,
приметывая, чтобы стали впору,
оборки пышные Никольскому собору,
прикидывая стежки, строчки
и позумент для оторочки.

И пока глядятся в воду,
недоверия полны,
продает туман восходу
купола из-под полы.

Будь щедрым, покровитель моряков!
Вся в полых мачтах каменных дворов,
вдыхая илапряного наркоз,
бросая бризу крыши на поживу,
Коломна, заостренная, как нос
фрегата, устремляется к заливу.
И целый город тянется за ней
на запах неизведанных морей.

Слава богу, не погиб в трясине
прорубавший просеки Трезини.
Лес лежал, повернутый изнанкой

к небу, между Мойкой и Фонтанкой,
чтоб очнуться в недрах лесопилен,
надышаться влагою морской...
Я судьбою, как скобой, пришпилен
к жизни деревянной, слободской.

Пока парадный город пировал,
здесь правили Мансарда и Подвал.
Пока проспекты важные меняли
названия в угоду временам,
здесь улочки украдкой сохраняли
привязанность к простецким именам.
Здесь лоцманы, солдаты, канониры
и все мастеровые анонимы
вгрызались в топь и в лед.

Я целый год
в подвале жил, пока
наш дом стоял на капремонте.
Вот сырости осклизлые бока:
зажгите свет и троньте
рукою стену — кажется, к руке
прилипнут имена, возникнут лица...
Я помню убежавших налегке
вас, многоножки, пауки, мокрицы, —
пока скользила по стене рука,
я словно пробивался сквозь века,
чтоб в комнату вомчаться на пределе
и вынырнуть на уровне панели.

Я у окна стоял часами,
а за окном под парусами
лихих капроновых чулок
скользили лодочки и боты —
там шли работницы с работы,
и утлой туфельки челнок
вдруг подлетал, не чуя ног.
Кипела жизнь на тротуаре,
а я стоял в своем угаре
и, одурев от этих бот,
качался, как корабль на рейде,
еще не ведая о Фрейде...
Но, впрочем, это эпизод.

Еще один, лет через десять.
Мой приятель
учился в «Корабелке» и снимал
мансарду. У него по вечерам
мы собирались. К нам
захаживали две подружки из Текстильного,
и столько было в них наивного и стильного!
Мы танцевали, а потом
все вчетвером
через окошко вылезали
на крышу.

Перед нами
Коломна, погруженная во мрак,
светила фонарями кое-как.
Доходные дома вздымали крыши,

боками придавив особняки.
А выше —
лишь дыхание реки
текло навстречу бурным, плотным светом,
антенны были сбиты вкривь и вкось,
как будто вновь, восстав над парашютом,
Невы державное течение
не выдержало заточенья
и к нам на крышу пролилось!

Как нынче жизнь головоломна,
но даже в наши времена,
так получилось, что Коломна
своим пристрастиям верна.
И вновь, безудержны и громки,
сходились в сумерках ночных
мы — представители, потомки
ее профессий коренных.
И неспроста мой корабел
в житейских бурях не робел,
а две текстильщицы, две пряжи,
латали наспех нам рубахи,
устраивали быт и дом...
Но я-то, я-то здесь при чем?

Притом!
Я такой же, таковский —
сквозь время петляет мой след.
Коломенский житель Жуковский
мне шлет через бездну привет.

Прощайте, подвал и мансарда,
гранит, и чугун, и металл!
Курчавую тень Александра
впервые я здесь увидал.
А все же душа неумна
и гонит кочующий стих.
Как много осталось, Коломна,
в несметных твоих кладовых!

И сфинксы на Египетском мосту
стоят, как часовые на посту,
пока река
всей мощью
под пролет
ныряет, как в подземный переход.



ДОМ ДЕЛЬВИГА

Прими сей череп, Дельвиг...

А. С. Пушкин

Пьет отец втихую водку.
Брат кончает мореходку.
Мама служит в банке.
Сын уходит в панки.
За стеной — упорный покер.
У подъезда — черный рокер.
Натянув на лоб резинку,
шею шарфом обмотав
и журнальную блондинку
на стене поцеловав,
отрок зеркалу мигает
и поспешно выбегает,
пробираясь, точно вор,
в коммунальный коридор.
За соседскою стеною —
Катька с детскою тоскою.
Ждет под вечер не дождется:
двери скрипнут на беду —
разбежится, распахнется
и прижмется на бегу.
И старик, худой, как жердь,

ходит-бродит, точно смерть,
ходит, кашляет взахлеб,
учиняет вечный стеб:
то ему не в жилу телек,
то его доводит рок.
А на плеер нету денег,
и затасканный упрек
день за днем висит незримо...
Мимо, мимо, мимо, мимо —
мимо покерной шарашки,
мимо Катьки-побирашки,
мимо старческой берлоги
пронесут лихие ноги...
Шлем, перчатки, чуингам,
на седло — и по дворам!

Быт банальный, коммунальный,
стал ты притчею печальной.
Надцать лет тому назад
и у нас был свой азарт:
что ни день посуда бита,
склоки, шум, спасенья нет...
К нам тогда вселилась Рита
двадцати бывалых лет —
Рита, полная восторга
дщерь любви и пищеторга.
Кулинарная богиня,
величава и стройна,
в нашей кухне, как догиня,
стала царствовать она.

И, делясь искусством с нами,
разбитными вечерами,
за созданием меренг,
нам подкидывала сленг.
И звенел звонок в прихожей,
и являлся гость расхожий,
и входила к нам сама
бундесовая фирма —
с чуваками центровыми
в мадеиновых клифтах,
и с чувихами крутыми,
и с понтилами в летах,
чтобы хряпнуть на халяву,
легкий кайф словить на славу,
а потом, с подначки,
побашлять на тачке.

И, взирая в ДО из ПОСЛЕ,
вспоминаю нынче я:
весь жаргон крутился возле
денег, тряпок и питья.
Ну а наш герой бедовый
просто хочет различать
«вломный» мир и мир «олдовый»:
то есть — дрянь и благодать.
Все быстрее летит эпоха,
и, за нею устремлен,
хорошо тебе иль плохо —
вот о чем твердит жаргон.
Что стараться? Выбор прост,

будто так и шло от веку:
— Оттянулся в полный рост,
кайф поймал — и в дискотеку!

...Шли по улице. Темнело.
Бунтовать просилось тело.
Что нам с нашего героя
взять? Какой еще навар?
На площадку метростроя
их повел лихой угар.
И уселись возле дома,
на развалинах, в тиши,
где балдели два «наркома»
от приبلудной анаши.
— Так над чем стебался телек?
— В доме жил какой-то Дельвиг.
— Что ли, пушкинский дружок?..
Им аукнулся смешок.
Лом спасли от метростроя.
Он, как остров, плыл в ночи.
Лампа бледною звездю
освещала кирпичи,
горы мусора и быта —
все, что сломано, разбито,
что зовут: культурный слой
(с чем не связан наш герой)...
Кто-то, прыгая в траншее,
засвистел: сюда скорее!
Под кроссовкою, в пыли,
череп глянул из земли.

Что ж, прими сей череп. Он
из наследства *тех* времен,
тех, военных, тех, блокадных,
для тебя давно плакатных,
онемевших и пустых...
И сверкнули две глазницы,
будто в них огонь таится, —
нет, стекло застряло в них.
Битый череп взяв под мышку,
наш герой бежит вприпрыжку
через мусор, сор, разор,
с пустыря — через забор.
К ночи площадь замирает,
бездыханный, черен дом.
Светофор во мгле мигает,
как беззвучный метроном.
И растет над ними город,
вороша культурный слой.
И встает над ними город
вековечною стеной.
И плывет над ними город
вереницею теней.
И поет над ними город
песни крыш и голубей.
Но они-то слышат: город
громом рокеров распорот.
Кто-то свой, спеша вослед,
крикнул на ходу им:
— Притусуемся на флэт,
там перенайтуем,

и забьем косяк олдовый,
и расслабимся по новой...
— Стоп! — вздыхает наш герой
и качает головой. —
Завтра в школу! — говорит.
Из-под куртки череп серый
в мир глядит, как символ веры,
и стеклянный глаз горит.

А на улице, кругом,
полон жизнью каждый дом.
Метрострой породу роет.
Домострой свободу кроет.
Переходит в визг хоккей.
Хороводит диск-жокей.
Покер длится. Катька плачет.
Дед-сосед в окне маячит.
С анекдотами о чукче
ржут застолья допоздна.
В подворотне, кошки чутче,
ждет своих дворовый дуче.
Мчатся тучи, выются тучи,
невидимкою луна.
Не видать конца пути...

Страшно, Господи прости!



ДЮНЫ

В РИТМЕ ПРИБОЯ

Волна отбежала,
но ветер,
как мальчик, играющий в прятки,
ее увидал и застукал.
Весь берег усеян
руками, ногами и голыми торсами кукол.
Быть может,
кораблекрушенье забило останками пляж
и прибрежный затопленный ельник?
Нет, это пришел понедельник.

Пришел понедельник,
и наша грядущая мудрость и сила,
взобравшись на пап и на мам,
в города укатила,
оставив на пляже
руины дикарских своих городов
и поблекшую россыпь ракушечной крупки,
да эти обрубки.

То кисти торчат из песка,
то ступни,
то подобные розовым мидиям попки.
Отлив-археолог
свои начинает раскопки.
Похож на пластмассовый череп
игрушечный торс —
и зияют глазницы,
где руки крепились,
а нынче внутри,
точно сгусток угасшего мозга,
ракушка гнездится.

Модель катастрофы,
игра в катаклизм,
образец истребившейся жизни.
В газетных кульках из-под ягод,
как эхо вчерашних событий,
прожорливо ползают слизи.
На выбросах пены
кишат и растут на дрожжах,
обживая песчаные пустоши,
божьи коровки,
как Божьи обновки.

Итак, репетиция праха.
Нахлынет прилив
и затахнет, замочет, засыплет остатки.
А ветер загладит морщины и складки.

Как зернышко,
катится кукольный глаз,
и готово пустить корешки
обнаженное зренье.

Пришел понедельник.
Грядет воскресенье.

У МОРЯ

Огород огорожен сетью. Перед ней
пес, на передние лапы острую морду
положив, напоминает зарытый в песок остов
лодки, выброшенной когда-то морем, — сейчас
это зыбкая тень цикадам, которых ветер
сдувает в побережья. На зябких лапах
псиная морда с опущенными ушами
лежит, как тяжелый якорь.

Что же снится тебе, старик? Столько
раз твой живот лизали зеленые звери
с белыми гривами, столько соленых объедков
ты закопал в песок, превращая берег
в рыбе кладбище, столько ночей провел
возле костра, пожирая ноздрями жаркий
дурман похлебки, ила, тины, йода, —
что уже давно превратился в морского волка.

Огород огорожен сетью. За ней
кверху брюхом лежат огурцы. Тупые рыла
кабачки утавили в землю. В ячеях застряли

бледные водоросли укропа. Грудью на сеть
навалилась смородина, роняя красные слезы
в птичьи клювы. До чего же богатый нынче
случился улов! Гусеница стекает
с ветки в жадную почву.

Зароюсь и я в песок — пускай мне приснится
квадратик моей судьбы, огороженный сетью,
за которой это богатство — ветер, море, земля —
теснится в груди, распирает сердце...
Нет, не бывать мне морским волком! Мое дело
куда солонее: знаться с мирским толком.
Беден мой бредень — и все же велик улов,
когда над головою такое небо!

ДЮНЫ

Здесь, как герой в античной драме,
песок склонялся под ветрами.
Теперь на берегу лагуны
застывшее движенье — дюны.
Овраги, впадины, ложбины —
все это жесты, лица, спины.
А время здесь обнажено,
как корни и бывшее дно.

И то, кем стать мы норовили,
и те слова, что говорили,
когда еще мы были юны, —
застыли, превратились в дюны.
Зыбучий склон порос кустами,
а память — зыбкими устами:
они, далекие, как миф,
застыли, прошлое скрепив.

Иссяк рассвет, внезапный, ранний,
в стране щемящих ожиданий.
И все начала, все кануны

застыли, превратились в дюны.
Как было лихо и огромно!
Как стало тихо и укромно.
Следы теряются в песках,
а море бьется в двух шагах...

ИГРА

На старом сарае петух кукарекает утро.
Вдоль хутора едет подвода. На подводе эстонец,
улыбаясь, напевает веселую песню.

Прекрасный язык! Лепетание ветра и шелест
воды меж камней, бормотание птиц, воркованье
капели, а также — задор забытой считалки.

Вставайте же в круг! За хутором хутор, за дорогой —
пустой перелесок, за перелеском — болото, дальше —
холмы и поле, и снова — за хутором хутор.

Это едет веселый эстонец по веселой дороге.
Это лошадь отбивает копытами счет считалки.
Это ветер по всей округе разносит песню.

Разбегаемся! Поиграем в пятнашки и в прятки.
Тряхнем стариною, кто как может: хутор, болото,
я, перелесок... Кто на дороге остался? Водит лошадь.

Водит лошадь замшелым глазом. Старый эстонец
на возу поправляет сено. На желтом поле
ходят черные птицы, а также четыре коровы.

Разбегаемся! Через канаву — по полю — мимо
четырех коров — по краю болота — сразу
в лес вбегая, задыхаясь в листьях и в паутине...

Это ли страна забытого детства — или детство
страны, ощутимой впервые на вкус, на запах,
на осязание щекой прелого корня?

Небо над головой, небо над головой, небо.
Из неба растет береза, и гриб древесный
скользит по стволу на розовом парашюте...

* * *

Юрию Брусовани

Такая благодать! Вокруг опять
хвоинки, ветви, кашка, лютик, мята.
Но что ни увидеть, что ни назвать —
дни, облака — нет ничему возврата.

Неведомо, зачем перечислять
все то, чем нас манят земля и небо, —
да жизнь идет. Взаправду ли — нелепо?..

Да, жизнь идет. Взаправду ли нелепо
все то, чем нас манят земля и небо,
неведомо зачем перечислять?

Дни, облака — нет ничему возврата.
Но что ни увидеть, что ни назвать —
хвоинки, ветви, кашка, лютик, мята
вокруг опять. Такая благодать!

ПИРШЕСТВО

Небритые люди садятся за стол,
установленный грубой горою съестного.
Здесь каждый законное место обрел.
Здесь Пиршество пишется с «П» прописного.

Пока олениной дымится казан,
помянута жарки святая наука —
и вот уже пыжится пышный пыжьян
и масляно щурятся щокур и щука.

Едой, как шаманством, кончается день —
о, чавканье, чмоканье, хруст, смакованье!
И как там в тени ни таится таймень —
никто не оставит его без вниманья!

Из банки болгарской ползет огурец,
зеленое рыльце о вилку калеча.
Под мясо идут, как идут под венец,
с грузинской аджикой венгерское лечо.

Египетский лук раздирает язык,
и водка, вспотев, как хозяин застолья,
обходит гостей, не присев ни на миг,
и грезит картофель укропом и солью.

Покуда томится во мраке углов
пропахшая глиной рабочая обувь,
покуда портянки вокруг сапогов
лежат, словно жены вокруг эфиопов,

покуда на смертном десертном одре
в подливу щурята устави́ли бельма, —
фламандская кисть отмокает в ведре
с тройною ухой из наваристой нельмы!

ГРИБНАЯ ОДА

О, как грибы нам угождают:
растут! И как порой рождают
иные ложные опята
грибные сложные дебаты.

Как нас влекут в траву под ветки
волнушки, юные кокетки!
О скотный двор, охотный ряд
свинух, боровиков, козлят!

О красный гриб с небритой ножкой
и с жирным слизнем, как с сережкой!
ты кочку взял на бордаж —
за это жизнь свою отдашь!

О ты, березовое чадо
из детской песни: чудо-чага!
О визг! О ясли для ослят!
А это я среди маслят!

О сыроежки завитушка!
О груздь! О слава! О горькушка!
О подберезовик на пне!
Да неужели это мне?

Болото, косогор, канава,
сосняк, знакомый наизусть...
«О моховик! — твержу. — О слава!
О мухомор! — шепчу. — О грусть!...»

* * *

В минуту жизни трудную,
когда на сердце грусть,
одну собачку чудную
выгуливать плетусь —
бредем, куда ни попадя,
в осиннике пустом,
помахивая походя
рукою и хвостом.

Лесного чернокнижия
поклонница навек,
моя молитва рыжая
замыслила побег:
во мху, густом и пористом,
пропала с головой —
но я небесным посвистом
зову ее домой.

Нет, мы не зря таращились,
пыхтя среди грибниц,
на пауков, на ящериц,

на неприступных птиц, —
как маленькую заповедь
корней, ветвей и трав,
несем корзинку запахов,
пол-леса отмахав.

Отбросив иго радио,
газет и трепотни,
так много, друг Горацио,
такого в наши дни,
что лечится пологостью
тропинок и дорог
и всей четырехногостью,
разлегшейся у ног!

ИЗ МОРСКИХ ЭЛЕГИЙ

1

Одна надежда на ветер. Тучи, сплошные тучи.
Обрывки — неразделимы, клочья — тягучи.
Пример, когда содержанью совсем безразлична форма.
И только у моря ломит волны в преддверьи шторма.

Старый ревматик! Мне бы твои болячки,
чтобы уметь так же, как ты, выходить из спячки.
Но я, гонимый волной, выхожу из моря,
расплевываясь с прибоем, с галькой вздора.

Форма моих членов не в ладах с содержаньем
влаги в воздухе. Хохотом и визжаньем
чайки сопровождают паденье тела
на берегу, где соль оседает подобьем мела.

Круг очерчен. Лежу на камешках в виде сгустка
цивилизации. Рядом со мной трясогузка

безразлично скачет по своей дороге булыжной,
явно давая понять мне, что я здесь — лишний.

И впрямь, я для моря — ничемная и пустая
форма, которую можно, в дело пуская,
забить, предположим, галькой. Хотя и банально,
но можно сделать вполне профессионально.

Встаю в синяках, хватаюсь за поясницу.
Одна надежда на ветер: едва прояснится,
обсохну, взлечу или корни пушу на круче —
кроной распахивать тучи.

2

Золотое руно день за днем облетающих кленов.
На серебряной гальке — следы босоногих язонов.
Голубая Колхида. Три краски смешались в одну.
И трехцветные крабы ползут по бесцветному дну.

Если навзничь упасть на безлюдном мысу невысоком,
то прямой горизонт над тобой вознесется флагштоком,
и начнет пароход по нему подниматься, как флаг,
затмевая огнями поблекший к утру зодиак.

И поднимется к самому горлу, вослед пароходу,
грусть, не видная глазу и слепо глядящая в воду,
как дневная звезда, — но ее затмевает взхлест
день, веселый и яркий, не знающий грусти и звезд.

Если бы море ушло — перед какою бездной
мы бы застыли! Местный
пейзаж превратился бы сразу
в тропу, неприметную глазу.

Если бы море ушло — и стали бы мы спускаться
в пучину, где, может статься,
и впрямь таятся богатства, а может — слава,
разве что всё, вероятно, ржаво.

Видимо, так и уходит время.
Обнажается дно, водоросли да камня,
и глубины, о которых не думалось, может статься, —
разве что нет ни славы, ни богатства.

Уходит время, и ты замечаешь, как пустая робость
и пустые надежды образуют пропасть,
в которой нет ничего иного,
кроме заржавевшего слова.

Вот и все сравнение. Море остается на месте.
Брожу по берегу честь по чести,
не замечая, что бьется сердце в ответ приборю.
Чего и стою.

СЕГОДНЯ

Руки у рыб кривы.
Рыбы — народ мирный.
Строем идут рыбы
лечь на песок жирный.
Рыбам гулять негде.
Рыбам теперь горе.
Рыбы живут в нефти,
ибо кругом — море.

Птицам весь день спится —
свет над землей слабый.
Словно слепцы, птицы
пробуют мир лапой.
Не говорит с ними
небо в ночных звездах.
Птицы живут в дыме,
ибо кругом — воздух.

Стойко плывут рыбы.
Птицы летят стойко.
Вот я и жив, ибо

люди кругом — только,
бедам чужим вторя,
душно порой, слепо...
То ли пора в море,
то ли пора в небо.

ОСЕННИЙ ТРИПТИХ

1

Лес прозрачен, как намек на осень.
Вместо тропки — чавканье и прель.
Мы плащи тяжелые набросим
и войдем под шорох и капель.

Стал кустарник выцветшим и нищим,
сизый мох — пружинист и глубок,
и нога под влажным голенищем
ощущает зябкий холодок.

Вымершие стебли иван-чая
клонятся на вымокшие пни.
Я теперь все больше замечаю,
как мы лесу этому сродни.

Шелестит невидимая птичка,
скрипом отзывается сосна.
Наших душ немая перекличка
никому чужому не слышна.

В этой внешней скудости — спасенье
от досужих возгласов и глаз.
Отошло грибное воскресенье.
Все легко и чисто без прикрас.

2

Все связано необоримо,
природа все пускает в ход:
сухая ель, как струйка дыма,
над сонной просекой встает.

Она потом такой и станет —
сухим потянется дымком
над перелеском и кустами.
Но это будет все потом.

Она еще стоит — прямая,
бросая тени на тропу,
и после смерти примеряя
свою грядущую судьбу.

3

Листва облетает,
листва облетает,
в садах паутина кусты оплетает,
и сена сухого шуршащий прибор
лежит, шевелясь над уставшей землей.

Вчера еще громко аукал черничник —
сегодня преданьем он стал, как язычник.
Всесильному ветру древесный народ
поклоны, как богу единому, бьет.

Нам тоже пристрастья вчерашние странны —
открыты коробки, скрипят чемоданы,
повсюду дорожный витает флюид:
бог сборов осенних над нами царит.

Листва облетает,
листва облетает,
прозрачное облако на небе тает,
и день за порогом пока просветлен,
но сердце сжимает идущий циклон.

Ты смотришь в себя, как юнец желторотый,
еще неосознанной боли страшась,
представив на миг, что у сердца с природой
осталась лишь эта — последняя — связь.

ЛИСТ

Вегетативные невроты —
мы все теперь у вас в плену!
Читатель ждет... Уж рифмы «розы»
я в мертвый стебель не вдохну.

Какие рифмы! Быть бы живу.
Прозрачен куст и пуст газон.
Брожу неспешно по заливу,
у туч заимствуя озон.

Пока считает геронтолог
остаток скудных наших дней,
осенний лист душист и колок —
на вот, возьми его скорей!

* * *

Ржавая сыпь на замшелом листе,
изморозь рвет паутинные нити.
Где же вы, братья мои во гнезде?
Что же вы песни свои не свистите?

Память пригреет — да горько в плену:
мертвой листвой осыпается слово.
Выйду — и зиму, как схиму, приму
за незабвенные муки птенцовы.

* * *

И совсем не для них мастерили кормушку,
но красивые птицы ее обошли стороною — поди, вороти!
И слетелись, давя и пиная друг дружку,
мелкота, шантрапа, воробьи.

И вот уже весь деревянный квадратик заполнен их
тельцами ярыми,
и вот не осталось от крошек уже ни следа...
А красивые птицы — одиночками или парами —
вымирают в долгие холода.

Что-то и впрямь со средой происходит, и в зимних краях
огородных,
где ни крупинки съедобной на ветке нагой,
и этих, ничтожных, жаль — и тех, благородных,
и те не даются — и эти всегда под рукой.

И глядя на крохи тепла, что слетают с ладоней отчих,
так и не знаешь в конечном счете, что выбирать, —
то ли всем скопом бросаться на них, урывая заветный кусочек,
то ль в одиночестве вымирать?

ЗАМОРОЗКИ

Коричневая, как плоть опенка,
от заморозков чистым-чиста,
прилипшая к столу для пинг-понга,
кленовая лоснится листва.

Рябиновые густые капли
в гортани кроны — что в горле ком,
и к дереву приткнутые грабли
проржавленным покрыты ледком.

Напитанные водой, осели
тугие комья — земля черна,
и жизнь, подобно гряде осенней,
разграблена и размельчена.

Опростанная, она до срока
ложится, словно под нож, под лед —
и этою нищетой высокой
кончается незабвенный год.

Вода поникла и поутихла,
над ряскою все плотней припай.
О память, зыбкая паутинка,
к губам присохшая, — улетай!



НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

* * *

Все тесней и все интимней
круг друзей — и не уйти мне
от того, что белый свет
среди крыш и среди веток,
словно марлечка на свет,
стал прозрачен, стерт и редок.

Умирают старики.
Все слышнее с той реки,
с той далекой переправы
их живые голоса.
Нам для подвигов и славы
остается полчаса.

Где содумники? Их нету.
Разбрелись по белу свету,
каждый сам себе горазд.
Что на свете остается?
Чистый лист и чистый наст.
Одиночество и солнце.

* * *

Молодая поросль
вырастает порознь.
Пробиваются сквозь травы
маленькие веры, славы —
каждый сам себе дубок.
Рвы повсюду да канавы,
лес прозрачен и глубок.
Хорошо бы ветка к ветке —
да деревья нынче редки,
и торчат вокруг одни
мхом затянутые пни.
На кого же опереться
здесь, на маленькой земле?
Хорошо бы вверить сердце
не металлу, не пиле,
а такому же, родному,
из того же чернозему —
в почках, птичках и коре.
Он мечтает по-другому.
но о том же: о добре.

Хорошо бы прикоснуться
не к мечтам — их пруд пруди! —
и очнуться, и проснуться
не от тесноты в груди,
а от тесноты рядов —
и коснуться облаков!

* * *

Раньше были помыслы —
нынче стали промыслы.
Раньше скажут: «Даровит!»
Нынче шепчут: «Норовит...»
Что случилось? Возраст вышел.
Но, упорный, как чума,
я, на зависть павшим, выжил —
и не выжил из ума.
Возраст вышел. Вышел возраст.
Отдымил, как мокрый хворост.
Там, где бился уголек,
пепел хворостей залег.
Как несносно быть поэтом,
убивать пороки
и при этом не по летам
обивать пороги.
Раньше скажут: «Во дает!»
Нынче шепчут: «Воду льет...»
Воду лью на мельницу
русского стиха,
увожу умелицу

музу от греха:
от греха расхожести,
скуки и похожести.
Перемелются пороки.
Переменятся пороги.
Важно только не сдаваться,
а писать —
и издаваться!

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Ведущие

отличаются от ведущих за собой,
быть может, всего лишь оттенком смысла,
стилистической сбивкой,
иным управлением,
но ведущие за собой
возникают только тогда,
когда есть правоверные идущие.

Так же как инакомыслящие
возникают только тогда,
когда есть икономыслящие.

Собственно, все дело в неправильных глаголах:

смотреть, видеть, ненавидеть и так далее
неправильно

с точки зрения тоталитарной грамматики,
в которой нечего глазеть по сторонам,
а уж тем более выражать отрицательные чувства,
не говоря уже про так далее.

Но неправильные
думают иначе,

ведут за собой,
и тогда их приходится знать, держать, гнать, терпеть
и так далее —
никуда не деться
от этих неправильных глаголов!

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГНЕДИЧ

Белый Зал холодит со двора.
Танцевальные здесь вечера
панихидою можно с утра
замещать по обычаям местным.

Вы отправились в путь налегке:
перевод на опросном листке
не заметят в пустом узелке
на последнем досмотре небесном.

ЧИТАЯ ШАЛАМОВА

Мы все побывали в лагере,
хотя и не той концентрации.
Нам нечего делать под флагами
детей новейшей формации.

И то отрицание опыта —
проклятие и апатия —
и нами немного добыто,
подобно добыче радия.

В НАЧАЛЕ МАЯ

По радио гоняли Галича,
и этот рокот сверху вниз,
как бы резвяся и играючи,
из репродуктора повис.

По улице с дождем и с лужами
прохожие, умерив прыть,
скользили и нет-нет да слушали,
разматывая эту нить.

Флажками город у Невы играл,
как будто, вопреки судьбе,
переходящий кубок выиграл
у ветреного КГБ.

ВОСПОМИНАНИЕ О ГЛЕБЕ СЕМЕНОВЕ

Глеб Сергеевич Семенов
на крыльцо выходит рано
посреди осенних звонов
и эстонского тумана.
Как под гулкий купол храма,
он под ветви леса входит.
Что он делает так рано?
Он Хайяма
переводит.

Под ногой бурчит болото,
паутиной полон ельник —
все пророчит, что работа
вновь не даст ни благ, ни денег.
Но мудрец восточный бродит,
как вино по жилам, яро, —
и, хмелея, переводит
Глеб Сергеевич
Омара.

Прибалтийской влажной далью
мчатся кони из тумана,
и ладони режет сталью
жаркий ветер Хоросана.
За грядущее расплата —
этих строк скупые крохи.
Сладким ядом рубайята
переполнены
эпохи.

На гончарном быстром круге
оседают дни за днями.
У столетий пахнут руки
медом, кровью и цветами.
Но душа весомей плоти,
тише вздохов, громче стонов...
Не случайно ходит-бродит
Глеб Сергеевич
Семенов.

ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ

— Ну как, вам нравится?

— Но зато как хорошо!

(Из разговора на поэтическом вечере)

Спешит поэт столичный, веселый человек.
А с ним актер, отличный от суетных коллег.
Спешит народ вприпрыжку на голос аонид.
А ветер завывает, а вьюга леденит.

Нева, дома, сугробы, собачий купорос...
Я славлю Дом ученых, пригревший нас в мороз!
Ревнивый и неявный под ребрами толчок,
и юности недавней знобящий сквознячок.

А гости перед входом успели покурить,
они в шестидесятых успели поцарить,
они поотражались в волшебных зеркалах —
осколки поколенья с усмешкой на губах!

Какая разыгралась за окнами буза!
Но подвернулся повод закрыть на все глаза:
как будто есть на свете лекарство от нее —
веселое фиглярство, занятное вранье.

Шумит поэт столичный, миляга и пострел,
и все-то он на свете унюхал-усмотрел:
Чуковского он видел, Ахматову он знал,
но не пристали к пальцам ни слава, ни металл.

Над поздною удачей кружит февральский снег
и оживают тени, и оживляют век,
и голос легендарный взлетает над Невой,
как легкий календарный листочек отрывной.

Какое поколение почти сошло на нет!
А мы поодиночке идем за вами вслед
и на привычный проблеск мальчишеских седин
с веселым одобреньем и с ужасом глядим...

О ВЛИЯНИИ АТМОСФЕРЫ

Стучит и звенит за окошком капель.
Вместо лирики получается какой-то кисель.

Вместо поэмы — два-три наброска.
От большой статьи остается сноска.

Вместо стихов для детей, которые им так рады,
выходит какое-то «ля-ля» для эстрады.

А вместо переводов с французского,
перевожу с зулусского.

Вместо зимы за окошком слякоть,
поэтому хочется не думать, а калякать.

Падает давление, из луж вылезают дома, как волглые глыбы,
а мы разеваем поблеклые рты, как мокрые рыбы.

И поскольку с нами нечему происходить, что-то происходит
с погодой —
все эти надломы и сдвиги, пахнущие свободой,

словно там, в атмосфере, что-то готовится,
от чего всем нам крепко не поздоровится.

Нам и нездоровится, и сосуды трещат по швам —
слишком узки мы для туч и ветров и не подходим снегам
и волнам.

И поэтому нужно учиться становиться атлантами
и, небо держа на спине, распорядиться талантами.

Но пока что погода такова,
что из ушей вылетают слова.

Нас давят и тискают эти метаморфозы —
и с губ мы роняем слезы.

* * *

Григорию Кружкову

Силлабо-тонический сад,
где расцветают пеоны,
где бутоны пиррихия
распускаются в дебрях спондея,
как деепричастный цветок орхидея,
где вольные ямбы
подобно репью
забывает колючий и цепкий дольник,
и ходит по саду восторженный школьник,
и видит,
как, спотыкаясь о корни анакруз,
блуждает мой друг-сочинитель и под нос ворчит:
«Анапест, анапест, анапест —
вот так амфибрахий звучит...»
О амфибратство, —
на твой огонек
слетаются бледные тени элегий,
и некий
белый стих, как ночной мотылек,

начинает кружить над сверкающей рифмой,
и лимфой
проступает на срезах поющих ветвей
детский радостный хорей.
Силлабо-тонический сад,
ботанический сад,
ученический сад,
где нимфы из местного ПТУ
сплетают венки сонетов
и птеродактиль клюет на лету
из рук поэтов.

* * *

Люблю переводить поэтов-северян,
их перечень ветров, метелей и растений.
Что говорит якут? Я стих его сверял
с тем, что увидел нивх и что услышал ненец.

Тот песни собирал да память бередил,
тот в тундре бедовал, ерник зимой копал там...
Еще один сюжет морской залив родил:
все чаще, все больней влечет меня к прибалтам.

Как мне перевести безмолвный их упрек,
чтоб не казался он ни суетным, ни бранным?
И, может, Бог меня от срама уберег,
когда подался я к веселым молдаванам?

Загублен виноград, зато цветет полынь,
Шмели сипят, задрав чахоточные рыльца.
По лестницам скрипит одышливо латынь,
кириллицу призвав на помощь, как перильца.

А что грузинский стих? За рифмой теневой
в подтекст очередной проникну нелегко я...
Всех, всех, кого люблю, переведу с лихвой —
и лишь родной язык мне не дает покоя.

Едва сажусь за стол, он душу теребит,
но всех чужих обид преодолеть не в силах.
Я зажигаю свет, и проступает стыд,
как тайнопись, меж строк опальных и постылых.

За все, что предаем огласке и суду,
за то, что не в ладу язык мой и природа,
за нищую дуду, за общую беду —
за все в ответе ты, искусство перевода!

ЕДИНОЖДЫ НАВСЕГДА

Он почувствовал необходимость расчесться
единожды навсегда со своею молодостию
и круто поворотить свою жизнь.

А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум»

В середине шестидесятых резко замедлилось время.
«Племя» и «семья» рифмоваться с ним перестали;
«стремя» давно скопытилось; правда, еще оставались
«темя» и «бремя»,
но темя болело от бремени стоявших на пьедестале.

В середине семидесятых произошел ожидаемый кризис —
исподволь были розданы мишени и мушки.
Наше поколение оказалось выбито: из
десяти, примерно, восемь расположились у кормушки.

Старшее поколение имело судьбу и успех.
Младшее поколение еще кувыркалось в нетях.
Наше поколение поверх этих глядело на тех,
часто не различая, что — у тех, что — у этих.

Мы начали слишком рано и ушли в никуда,
никто посреди нигде стал нами распоряжаться,
поэтому если хочется единожды навсегда,
то это вполне естественно, и не следует раздражаться.

В середине восьмидесятых все расставилось по местам:
старшим хватает чего терять, младшим есть чего
добиваться.

Мы оказались на берегу подобно выброшенным китам —
остается, ползя вперед, окончательно добиваться.

Но если двоим из десяти захочется круто поворотить,
то есть еще прилив и прибой, а рядом — друг и ровесник.
Вот бы только еще удаче покружить и поворожить
там, где громко хохочут чайки и гордо реет буревестник.

* * *

Валентину Дмитриевичу Берестову

На улице — тихо и жарко.
Дремотные липы цветут.
В дирекцию детского парка
зайду на пятнадцать минут.

Мне скажут:
— Ну как, вы готовы?
Не страшно? У нас — малыши!..
— Ну что вы, — отвечу, — ну что вы:
они-то как раз хороши!

Люблю первоклашек степенных,
их классов приветливый вид,
где солнечный зайчик на стенах
от каждой улыбки дрожит.

Люблю второклашек беспечных,
их шум, их насмешки порой,
и этих наивных и вечных
вопросов неистовый рой.

Люблю третьеклашек бывалых —
расселись, хитры и тихи.
Не раз я с восторгом внимал их
историям — вот где стихи!

И есть неприметная глазу
отзывчивость, гибкость души —
все то, что к четвертому классу
теряют мои малыши.

Тот весело смотрит,
тот — хмуро,
та щиплет соседку тайком...
Все прочее — литература!
И к ней мы сейчас перейдем.



ОТРЫВОК ИЗ БИОГРАФИИ

* * *

Эльге Львовне Линецкой

Он все еще звучит из глубины столетий —
александрийский стих с цезурой на третьей
таинственной стопе: вся боль страстей земных
укладывается в александрийский стих.
Живет античный мир в его привычной шкуре.
В незамечаемую сбивку на цезуре,
как в щелочку, гляжу, пытаюсь рассмотреть
тот вечный двигатель, прядущий жизнь и смерть,
чья вещая душа погребена в руинах.
Но есть еще одно нутро в александринах:
в их смертном бытии остались на века
достоинство и честь родного языка.
Он сам — хвала его хранившим от ущерба.
Когда приблизился последний час Малерба,
тот приоткрыл глаза и силился распечь
свою служанку за неправильную речь.
Когда же духовник осмелился на это
с печалью возразить, — раздался глас поэта:
«Пускай грядет Ничто, но и в предсмертный миг
я должен в чистоте хранить родной язык».

БАЛЛАДА О СТАРИННОЙ МУЗЫКЕ

Вот голос над гомоном будней:
едва он явился, взлетев,
как гостью восточную — лютней
да бубном — слугой королев,
и флейтой — любимицей дев,
и низкой струною Псалтири
продолжен старинный напев
о счастье, о горести в мире.

Чем выше — светлей и уютней
становятся звуки. Сомлев
под пение шершней и трутней,
под сенью кустов и дерев,
травинку дыханьем задев,
как тонкий значок на клавире, —
почти исчезает напев
о счастье, о горести в мире.

Чем ниже — грубей и распутней
становится голос. Надев
обноски подвохов и плутней

на голых адамов и ев,
смешает он замок и хлеб,
как воду и спирт в эликсире, —
но вновь оживает напев
о счастье, о горести в мире.

П о с ы л к а

Волынка! Вмешайся, презрев
гармонию нотной цыфири:
все в кучу — и нежность, и гнев...
О, счастье! О, горести в мире!

ФАРС О ЛОХАНИ

Моя жена переводила фарс
французский, в нем участвовали трое:
он — Жакино, она — его жена,
и теща. Дело, в общем, было в том,
что сговорились эти злые бабы
сжить со свету беднягу Жакино
и стали диктовать ему насильно
огромный список дел и поручений,
которые он должен выполнять
и днем, и ночью. Попросту, над ним
готовилась зловещая расправа,
и впал в унынье бедный Жакино.
Но тут жена (его, а не моя),
ругаясь, мужа подвела к лохани,
чтоб начал он выкручивать белье, —
и поскользнулась. Тут моя жена,
в согласие с той, немного поскользнулась
на переводе. Дальше было так.
Она (его жена) в лохань упала
и стала звать на помощь. И моя
меня кричит: давай, мол, подсоби, —

ей, видите ли, нужно подобрать побольше крепких слов и выражений (а нужно вам сказать, что в этом фарсе жена и муж довольно грубовато друг с другом изъяснялись). Жакино, не будь дурак, в лохань влезать не стал, а развернул свой список, повторяя, что, мол, тащить супругу из лохани — такого порученья в списке нет. И я своей твержу: стирать пеленки — стираю, в магазин ходить — хожу, пол подметать — мету, посуду мыть — помою с удовольствием, но фарс переводить — вот это уж увольте!.. Но все, по счастью, кончилось удачно. Его жена вернула мужу право хозяином считаться, чтобы только он из лохани вытащил ее, — да и моя, узнав, что ей хотелось, немедленно отстала... Я вернулся к моим кастрюлям, плошкам, поварешкам, пока она дымила сигаретой, вымучивая свой французский фарс... Вот так-то, брат! Там, пять веков назад, ты жил прекрасно — пел и пил вино, и выходил порою на подмостки свой фарс играть... Ну что ж, я не грущу! Есть у меня отдушина: когда заснут жена, и сын, и все соседи,

когда заснут кастрюли, и пеленки,
и тряпка, и метелка, и совок,
я... нет, я до зари теперь не лягу,
я достаю перо, беру вино,
сажусь за стол — и пачкаю бумагу...
Двадцатый век, дружище Жакино!

РЯДОВОЕ ДЕЛО Д'АРТАНЬЯНА

1655 год. Осень. Уголок старого Парижа. На переднем плане — дом, предназначенный к ремонту. Около него свалены строительные балки. Перед домом прохаживается д'Артаньян.

Д' А р т а н ь я н

Его преосвященство, кардинал,
мне не дает покоя. Я отныне,
как мой герой однажды написал,
порхаю «токмо ради Мазарини».
Ну что ж, мазаринада Сирано
была вполне язвительна. Однако,
в сороковом году, давным-давно,
я знал совсем другого Бержерака.
Вот кто шутил! Вот кто сгорал в огне!
Кто был магнитом тайных женских взоров!
И уж кому по нраву, как не мне,
его гасконский выговор и норов!
Но столько лет минуло! Наконец,
могла б и трезвость посетить кумира,

а он — смешно! — как в юности, гордец,
бессребреник, писака и задира.
О, молодость, твой пыл не позабыт,
порыв твой свят, достойна щепетильность,
но в сорок лет, ей-богу, так претит
вся эта напускная инфантильность.
Дуэли, скачки, юбки хороши
в семнадцать, а теперь они — вериги,
и для созревшей, дерзостной души
нужны иные чары и интриги.
Я — д'Артаньян: меня не тяготят
ни бремя славы, ни обуза денег.
Но требует душа! Я — дипломат,
иезуит, разведчик и священник!
Что говорить? Наш век не так-то прост —
в нем выжить по плечу одним титанам.
К тому же мне обещан новый пост:
я со дня на день стану капитаном
гвардейцев... Но до этого — одно,
еще одно задание кардинала:
убрать писаку... Бедный Сирано!
Мне жаль его. Как хорошо, что мало
я с ним знаком! В конце концов, еще
одна дуэль, но тайная. Не надо
ни прятаться украдкой под плащом,
ни в полутьме устраивать засаду.
Я все продумал: Бержерак живет
здесь, в двух шагах... Когда пойдет он мимо,
случайно балка сверху упадет...

Дом строится... И все так объяснимо...
Я нанял трех мерзавцев — этих дел
им не считать, и денег не считать им...

А в т о р (*выбегает из партера на сцену*).

Постойте! Я такого не хотел!
Так мы с ума от путаницы спятим!
Я лишь предположил, что, может быть,
в убийстве Сирано (когда убийством
закончилась его шальная жизнь)
мог быть замешан д'Артаньян. Как раз
в те годы стал он ловким, умным, тайным
агентом Мазарини...

(Садится на одну из балок.)

Но ведь это —
лишь домысел. И сам я не пойму,
с чего взбрело мне путать д'Артаньяна
реального — и вымысел Дюма!
Развенчивать героя? Но зачем?
Переносить в тот давний век свои
не слишком-то богатые пометы
и наблюденья? Но далекий век
даст фору в сто очков по этой части
и подлостью своей нам нос утрет.
А может, просто хочется душе
столкнуть своих героев, проследить,
во что их бескорыстие и удаль
могли бы перейти?..

Д'А р т а н ь я н (*подходит к Автору, тот встает*).

Простите, сударь,
но здесь идет строительство. Беда,
коль вас бревном заденет.

(*Трем оборванцам, показывая на балку рядом с Автором.*)

Господа,
вот эта — подойдет!

БАЛЛАДА О МАКСЕ ЖАКОБЕ

Однажды французский поэт Макс Жакоб, по происхождению еврей, увидел на стене своей комнаты в Париже тень Христа. Кончалось первое десятилетие двадцатого века, время стояло апокалиптическое, знамения становились явью. Жакоб принял католичество, уехал в провинцию, долгие годы прослужил привратником в маленькой церкви, писал стихи, а жил на скромные деньги от продажи своих картин. Нацисты нацепили на него желтую звезду. Умер он в начале сорок четвертого, в концентрационном лагере.

1

Макс Жакоб жалеет жаб —
до чего ж уродцы!
Скрип и скрежет, хрип и храп
слышатся в болотце.
Пахнут ряскою ветра
на пустом пригорке.
У Жакоба до утра
свет горит в каморке.

Спит ограда. Спят кусты
у закрытой двери.

Спят могильные кресты,
как глухие звери.
Спят церковные ключи
на гвозде в каморке...
Что привратнику в ночи
делать на пригорке?

То и делать, что смотреть
на загривок жабий,
высунувшийся на треть
из болотной ржави,
да на то, как грань о грань,
блик о блик дробится,
как вздымается гортань
у ночной певички.

Смотрит, сам тому не рад,
ревностный католик
на языческий обряд
этих жабьих колик.
Раздуваются тела,
ухает утроба —
и горит, горит дотла
сердце у Жакоба.

Но дается ж благодать
этим тварям слабым!
Да и как не распевать
прирожденным жабам,
да и как не заскрипеть

песенкой простою —
им по кочкам не сидеть
с желтою звездою.

2

Как-то раз пришли на двор
Ненависть и Злоба —
и с печальных этих пор
нет нигде Жакоба:
сгинул тихо, как возник,
легкий призрак плоти,
как последний жабий крик
в замершем болоте.

Жирной слякотной землей
след Жакоба впитан.
За колючей, за глухой
проволоккой спит он.
И в горячке просит пить,
и честит хворобу...
Десять дней осталось жить
на земле Жакобу.

И тогда он видит сон:
краски да треножник,
он еще в Париже, он —
молодой художник.

Юной кисти пыл и прыть,
вечность — на учебу...
Девять дней осталось жить
на земле Жакобу.

Выплывает, снам вослед,
из болотной жижи:
Божьей милостью поэт,
он еще в Париже.
И слова идут-бредут,
словно в такт ознобу...
остаётся пять минут
на земле Жакобу.

Наяву он, как во сне,
видит — ближе, ближе:
тьень возникла на стене,
как тогда в Париже.
И уже плывет над ним
из дневного мрака
круглой каски черный нимб
по стене барака.

3

О, пророчество! Волшба!
О, начало века!
Все казалось: есть Судьба —

выше человека.
Под напором вещей строф
ежилась бумага —
поступь грозных катастроф
грезилась, как благо.

Но верней, чем Божья тень
на стене у Макса,
расползлся черный день
над землей, как вакса.
И пока в глубинах строк
ворожил художник,
чистил тысячи сапог
дьявольский сапожник.

Но верней, чем Божий след
в памяти Жакоба,
нисходил на Божий свет
черный отсвет гроба.
И покуда растирал
стихотворец краски,
восходил на пьедестал
жабий абрис каски.

Это въяве, не во сне,
это в недрах быта:
на разрушенной стене
тенью тень покрыта.

Едким дымом скрыт зенит —
свету не пробиться:
что потомкам сохранит
эта плащаница?

...Спит ограда. Спят в ночи
травы на пригорке.
Спят церковные ключи
на гвозде в каморке.
Только жабы, как всегда,
тянут свой молебен...
Гаснет желтая звезда
на холодном небе.

ОТРЫВОК ИЗ БИОГРАФИИ

Переживаю моих поэтов.

Начинаю считать.

Например:

в двадцать восемь почивший Лафорг,
в тридцать лет от чахотки погибший Корбьер,
в тридцать семь
без ноги в поднебесье приползший Рембо...

Всем,

кому на второе рождение я отдал ребро,
а вернее, ветвистое древо извилин, —
всем отныне я старший, и ночью, как филин,
облетаю свой сад, где из праха чужого,
бумажного праха
растет и плодится строка.

Из всего второго,

чем обзаводятся к сорока —
второй жены, второго ребенка, второго дыхания,
второго призванья, —
я обзавелся только одним:

вторым
подбородком.

И в войне
лысины с сединой
перевес пока что на стороне
второй.

И поскольку я до сих пор не готов
думать о жизни, словно о смертном грузе,
из того, что теряют, а именно: из зубов,
волос и иллюзий,
пока только всякая мелочь
исчезла, просыпалась, как сквозь невидимое решето.
Тем более что
камень, который за пазухой держат, я спрятал куда
надежнее:

в почку.

И в мыслях о том, как неплохо родить, предположим,
дочку,

рождаю строчку
и ставлю на этом точку.

Однажды я прочитал такое письмо.

Девочка из сказочной Тьмутаракании,
приписав спасибо заранее,
просит поэта Ивана Андреевича Крылова
прислать ей книжечку басен.
И, уверенная, что мир справедлив и прекрасен
и что ей помогут в ее нужде,
добавляет еще два-три слова:

«Иван Андреич! А откуда вы знайти где
нужна ставить запитые и точки?»

Дочки мои, дочки, мои строчки, —
сколько еще остается отцовских забот!

И вот —

я хожу, я брожу от ворот до ворот,
повторяя:

«О, весна без конца и без края!...»

На балконах идет посевная,
нараспашку любое окно,
как слепец, прозревает зерно,
каждый листик на солнце лучится,
и от неба нельзя отлучиться,
льют из леек грибные дожди,
и — полжизни еще впереди!



**ЧАСТЬ ВТОРАЯ:
1990–2012**

АЛФАВИТ РАЗЛУКИ

* * *

Владимиру Аленикову

Двадцать лет сплошные провода,
перекличка слов банальных...
Вот и все надежды пропиты
на безудержных отвальных.
И мечты о вольном дружестве,
словно в детстве страхи-ужасти,
не успев наружу вылезть,
поманили — и забылись.

Шлют привет из Досвидании
наши лели и хариты.
Слава богу, тени давние
не сидят и не убиты.
Но, вкусив разлуки досыта
и пройдя полмира по свету,
возвращаются друг к другу —
как бутылочка по кругу.

Словно в детстве возле колышка,
сядем рядом узнаваться.
На кого покажет горлышко —
с тем и будем целоваться.
А когда веселье кончится,
вслед молве и старым сплетням,
золотого одиночества
из горла хлебну последним.

* * *

Не хватает ерунды, дурости, трепа
с теми, кто сходит с трапа,
выбирая ступеньки поближе к раю.
Теперь их Манхеттен с краю.
Что же меня тревожит и что задачит?
Отныне мой день закончен, когда их начат.
Лишившись единства времени, места, жизни,
мы понимаем, что прежде жили при классицизме.
У них начинается место, у нас — время.
А жизнь остается с теми и с теми:
мечется с места на место, часы на часы меняя, —
где там поближе к раю?

* * *

Раньше жили постадно, теперь — постыдно,
одиночество не приносит проку,
все равно уже проставлены клейма,
расставлены точки, разобраны судьбы.
Был я когда-то за всех в ответе,
после стал я за нас в ответе,
нынче никто ни о чем не просит:
нет вопроса — и нет ответа.
Даже в справочной по телефону
отменили «Ждите ответа!»
А никто и не ждет, ибо нет спросу
на то, что сомнительно и за деньги.
Если бы можно было вернуться
в то наивное детское стадо,
быть прозорливей и увернуться
от клейма и веселья топтать
друг за другом, сладко мечтая
быть поближе к передовому...

* * *

«Изгнание — патент на благородство.
А ты хлебай свое дерьмо и скотство!» —
не так ли ты со мною говоришь,
мой новообретенный нувориш?
Хлебаю. И уже не строю виды.
Я с будущим расчелся навсегда.
И нет постыдней праведной обиды.
И нет обидней ложного стыда.

* * *

Любовь к родному пепелищу... и гробам...
нет-нет да и напомним нам,
что дым отечества... и сладок... и приятен...
плывет, в накрапах трупных пятен.
В патриотизме есть душок некрофилии.
В сушь африканскую свали — и
там — там еще скорей! — что вспомнит блудный сын?
Пыль, гниль, прель, цвель — все эти «эль» на языке
родных осин.

Не блудный сын — а прудный, травный,
на чувства прочие бессилен или скуп,
в своей любви, далекой и исправной,
нет-нет да и смахнет червивый привкус с губ.

* * *

Господин Фаршеедов
автор нашумевшей «Крысофобии»,
прижал передние лапы, вытянул задние обе и
потянулся, на солнышке млея,
поскольку сожрал еще одного ротозея.
С тех пор, как ему перестали протягивать лапы
местные химики и эскулапы
из общества защиты пернатых и грызунов,
он стал еще большим потрясателем основ
и карнизов,
по ночам выходя на охоту и бросая сородичам вызов.
Так и движется наша эпоха:
все, что плохо, — плохо, и все, что прекрасно, — плохо,
оказалось, что вдруг ни эстетики всюду не стало, ни
этики,
и радетели прав на цветенье в лугах собирают букетики.
Вот и семейство Лютиковых собирается в путь:
Лютиков-папа хватается с горя за грудь,
где угнездились его родные жучки и личинки;
Лютикова-мама впопыхах пересчитывает тычинки;

а Лютиков-сын вздыхает сладко и тяжело —
прощай, маргаритка, прощайте, ландыш и кашка!
Он машет им лапкой, он их на прощанье кличет —
но кто-то его прижимает к земле
и, елозя на спинке, мурлычет...

* * *

Я пошел на выставку Шагала,
чтобы встретить тех, кто не уехал.
Оказалось, их не так уж мало:
были там Наташа, Юля, Алла,
были Рабинович и Хаймович,
Саша, Маша, Вова, доктор Пальчик.

Алла говорит: «Мы послезавтра».
Юля говорит: «Мы на подходе».
«Там нельзя, — откликнулась Наташа, —
там нельзя, но здесь невыносимо».
«В Раанане, — отвечает Саша, —
тут, у нас, все очень даже можно:
можно жить, работать можно дружно».
«А у нас, под Вашингтоном, душно, —
Вова говорит, — и нет работы».
Маша возражает: «Здесь прелестней —
швабский воздух, пиво, черепица...»

Доктор, доктор, надо ль плакать, если
Диделя давно склевали птицы?

Рабинович сел на стул при входе —
он в летах, и у него одышка.
А Хаймович — тот совсем мальчишка,
правда, он в Освенциме задушен
и скользит, как облачко, вдоль зала.

Я пошел на выставку Шагала,
но тебя на выставке не встретил.
Только край оливкового платя
над зеленой крышей промелькнул.

* * *

И вот они выплывают из прошлого —
«сайгоновские» завсегдагаи:
вздохмаченные, небритые, вечно поддатые,
канувшие в Лету и вынырнувшие из Гудзона,
приглаженные, стриженные, вроде газона,
но по-прежнему непреклонно пьющие
и на всю нашу жизнь со своих небоскребов плюющие.
Правда, при ближайшем рассмотрении
небоскребы превращаются в довольно приземистые
строения,
в подвалы, в каморки, в квартирки,
правда, с едой в холодильнике и мягкой бумагой для
подтирки.
А бывлые собрания и выклянчивания мелочи
превратились в мелочь собрания и выклянчивания
былого,
из которого умеючи
можно извлечь два-три свежих слова.
Но все остальное — по-прежнему там,
в шестидесятых-семидесятых,

и память ведет этих стриженных, гладких, поддатых,
возвращая к насиженным с детства местам,
где стакан бормотухи заедали пирожками с повидлом
те, кто были быдлом,
а стали «мидлом».

* * *

А вот еще один, задыхающийся: «ка... ка... ка...» —
из своего заокеанского далека.

Брызги слюны это вовсе не брызги пены.

Все же как жаль неприкаянного старика —
очи его отвисли, слезятся члены.

Покинувший город, где был он известен тем,
как размахивал тростью, ее превратив в тотем,
да песенкой барда на пару туманных строчек,
от вечного крика он стал совершенно нем.
Так плохнет от вечной, тупой стрельбы пулеметчик.

Жизнь обратил он в идею, что должен весь
в ушко допотопной славы до пяток влезть:
вот что для плоти — цель, а для сердца — вера.
«Хлябь нашу насущную даждь нам днесь», —
говаривали наяды Жака Превера.

Хляби насущной дождавшись, теперь он сыт
и пьян от проглоченных слов, слез и обид.
Былые друзья прошлись по нему, как гунны.
И ночью, замшелый странник, он тяжело спит
в отеческом иле, на дне заморской лагуны.

* * *

Голос, записанный на кассету,
иногда подобен кассете,
оглушающему паузами, сбивками речи, глухими затяжками
сигарет —
всем тем так смертельно знакомым, чего уже нет
рядом, но есть на другом полушарии, куда не пробиться.
И вдруг начинает гукать чужая ночная птица.
И голос тотчас выходит из черного надгробия диктофона
и размещается в мире на фоне лесного склона,
чистых полей, красивых машин — всего, что умеет
«Кодак».

И жизнь превращается в стол находок.
Голос старого друга вновь открывает дверь —
тогда я сажусь за письменный стол потерь
и застываю, надолго уставясь в точку в конце строки,
и слушаю, как из порта плывут ночные гудки.
Так и будем перекликаться, в окошко биться —
птица, гудок, птица, гудок, птица,
от себя добавляя затяжки, шорохи, те посторонние звуки,
из которых и состоит алфавит разлуки.

ОСКОЛКИ ЭЛЕГИИ

Владимиру Салите

Сухие очертанья замков,
как некогда писал Случевский,
остались в прошлом. По дороге
уже Ивангород и Нарва
не будут каждый год встречать нас.

.....

Утрата Тарту — перевертыш
стал жизнью.

.....

рифму «вязко — Вярска»
не омочить в пути глотками
колючей жидкости.

.....

А там,
на детском пляже в Гунгебурге,
всё ходит маленькая Аня
среди нянюшек и гувернанток
и южный свой загар смывает
холодным морем.

.....

в кружевной
тени, полезной и младенцам,
и старикам.

.....

Повсюду доски
мемориальные – какие
всё имена! И житель Тойлы
выманивает на прогулку
затворца Пяру.

.....

В Вашингтоне
теперь мой друг рыжебородый,
с которым мы ходили вдоль
пустого пляжа и смотрели,
как солнце тает в рыжем море.

.....

И поэтесса Бетти Альвер
с ее гербарием железно-
дорожной флоры.

.....

И всё реже
мне пишет Лезло из Руйлы.
Всё дальше, дальше тихий хутор,
еще чуть-чуть – и пропадет
за горизонтом.

.....

из коры
кораблики.

.....

проклятой властью
дарованное счастье.



ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИМИТИВЫ

* * *

Среди руин жужжит незванный шмель
и вспугивает сонную истому.
Перевернулся свод, как колыбель,
и спящий ангел выпал на солому.

Он так лежит уже который век
среди созданий каменного сада,
и некому поднять его наверх
и колыбель перевернуть, как надо.

Он мог бы плыть, веселый и живой,
в ковчеге, утонувшем в райских травах.
Но спит. И под разбитой головой
рыжеет мох, как два пятна кровавых.

* * *

С черепичной крыши голубица
спрыгнула на мой рабочий стол.
Что, ей-богу, попусту ломиться
в двери, от которых отошел?

Прошлое на то и мягче воска,
чтоб лепить по памяти, когда
будущего плоская полоска,
как закат над городом, тверда.

Все, что так стремительно куется,
тут же перелепится, как тот
хлебный мякиш, брошенный на солнце,
что голубка с жадностью клюет.

* * *

Ефиму Григорьевичу Эткинду

Клочок земли приевшейся покинув
и выйдя за пределы бытия,
тревожное мяуканье павлинов
услышал на чужом рассвете я.

Ни воплей грибников, ни лесопилен,
ни пьяного рыдания наших муз, —
боюсь, что оказался он стерилен,
Булонский лес, на мой чухонский вкус.

Виденья запоздалого Ленотра
сквозь марлю проступали тут и там,
и лебеди, как призрак медосмотра,
спустились вниз по ватным облакам.

Я, как дитя, разыгран был туманом,
и, словно в продолжение игры,
он вел меня по язвам и по ранам,
сорвав бинты с гноящейся коры.

Он развенчал фальшивую стерильность,
он обнажал в лесу за пядью пядь.
Я оживал. Еще чуть-чуть — и ринусь
за ушками павлина почесать!

* * *

Веронике Долиной

Невеселые лица у русских в Париже.
Им чужое — родней, но родное — ближе.
Их о чем-то важном еще не спросили.
А главное — знают, как жить в России.
Наше время куда веселей, чем прежде.
Им давно комфортно в чужой одежде.
А то, что на лицах следы кавычек, —
дело мускулов, то есть дурных привычек.

* * *

Под мостом Мирабо — я не видел, быть может, —
тихо Сена течет, но меня не тревожит.
На мосту Авиньонском — быть может, и это —
и поют, и танцуют всю ночь до рассвета.
Я не знаю, не прожил я эти мгновенья,
не дают мне покоя другие виденья:
то утопленник навзничь, то убитый враспяжку —
под мостом через Мойку, на мосту через Пряжку.

* * *

Как ни странно, издали боли — резче,
опаснее — мысли, привязчивей — вещи.
Все, что дома осталось, кажется благом.
Даже черствый кусок, как ни странно, лаком.

Лаком покрыты картинка в даялях,
прямо не жизнь, а какой-то Палех.
Зато все больше морщин и складок
здесь, где воздух душист и сладок.

Это перемещенье по миру
меняет картину мира помалу:
где-то прижиться — боже помилуй,
дома остаться — горше, пожалуй.

Дом — в опаску, чужбина — в тягость.
Бог его знает, что за двоякость.
Так все, что летит, одного порядка:
два крылышка — и одна посадка.

* * *

Я видел Францию в снегу.
Был горизонт высок и бел,
и ветер падал на бегу
в объятия скрюченных омел.

Взгляд из России тем и нов, —
что замечаешь всё верней
свой, доморощенный покров
на черноте чужих полей.

Как трудно думать о простом!
Но всё теснее тьма и свет
и укрепляется родством
простых деталей и примет.

* * *

В окно автомобиля выгляни —
вот мост лежит, осовременив
пейзаж. Его сложили римляне
из нестареющих камней.

В нем совместились мощь и грация,
он словно свиток без помарки,
и, может, вся цивилизация
обязана вот этой арке.

И если видеть — в виде крайности —
краеугольный камень в рабстве,
нелепо говорить о равенстве
и глупо говорить о братстве.

Не оттого ли так устроено,
что здесь, вблизи, и в дальней дали
рабы — во все эпохи — строили,
а революции — сметали?

И потому, быть может, выпала,
покуда строим и сметаем,
нам лишь одна свобода — выбора
между рабом и негодяем.

* * *

Сработанный еще рабами Рима,
передо мной дымился край земли.
И я вдохнул знакомый запах дыма —
как жгут у нас, листву и ветви жгли.

Горели тарабарские коряги —
сухой язык неведомых пород,
и сучья, покрасневшие от влаги,
ползли, как раки, задом наперед.

Костер дышал, в огне гноились корки,
и на меня взирал кровавый глаз.
Но запах дыма был такой же горький,
такой же сладкий был он, как у нас.

Я отогнал пустое наваждение,
немой души невысказанный труд.
Дыми, дыми, ненужное волнение,
послухные ветрила подождут.

Крик чаек, перебежка трясогузок
и ветер с моря, дышащий в лицо, —
куда нам плыть? Незримый мир так узок,
как в старый палец вросшее кольцо.

ПРОВАНСАЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Андре Марковичу

Я люблю работать у окна,
где шумит листва и свищет стая,
или, как сейчас, — когда весна,
и над Арлем — шум и свист мистралья.

В карликовом этом городке,
утонувшем в красной черепице,
я живу легко и налегке —
то-то мне на месте не сидится!

Делаю по городу круги —
что на свете слаще ротозею?
На реку гляжу из-под руки
да на камни римские глазею.

На субботний рынок забреду —
он с утра от пряностей неистов,
и себе на радость и беду
затеряюсь в царстве букинистов.

На развале — кто с ним не знаком?
Лист оторван, корешок порвался, —
я листаю почерневший том
с древними поверьями Прованса.

И брожу в тумане, как в дыму,
на своих, незримых, пепелищах,
здесь, где я не нужен никому,
никому не нужен, кроме нищих.

Все здесь по-восточному пестро,
все неприхотливо и лениво.
Я сижу за столиком в бистро,
выбирая кофе или пиво.

Завсегдатай, беспородный пес,
новичка расколет без промашки,
молча глядя чуть ли не до слез
на мои соленые фисташки.

Так я нянчу маленький восторг,
то на то уставясь, то на это,
тут же вспоминая, как Лафорг
смаковал парижские приметы.

Вот и я под стать ему — сужу
по стихам, вы их еще прочтете, —
в зал библиотечный захожу:
он и у меня в большом почете.

Я сижу до ночи у окна,
мне милей всего моя свобода,
и ночного таинства полна
сладостная бездна перевода.

А к утру, когда приходит срок
новым откровениям и темам,
под руку берет меня Ван Гог
и уводит к монастырским стенам.

* * *

Ко мне прибегает пастушеский пес.
Он знает коров, и баранов, и коз,
и фермера с фермершой старой,
и пастбище знает с отарой.

А вот ведь ему и не снилось притом,
что можно сидеть и писать за столом,
и странное это явление
приводит его в изумленье.

Ну, хлеб на столе, или миска стоит —
понятное дело: и запах, и вид.
Ну, скажем, кастрюльки, горшочки...
но дикие эти листочки!

С одной стороны подойдет и с другой,
и лапы расставит, и уши дугой,
и так он посмотрит, и этак,
и тявкнет в сердцах напоследок,

и носом потянет и этак, и так,
и весь его вид говорит мне: «Чудак!
У нас-то — тебе и не снилось —
корова в хлеву отелилась!»

* * *

Римское кладбище. Разве приснится
это прибежище ларв.
«Пи-ни-я... Пи-ни-я...» — свищет синица.
Пиния. Лавр.
Каменно. Сухо. Ни цвели, ни гнили.
Сосны вросли в облака.
Жили недолго, зато хоронили —
чтоб на века.

Что, моя ящерка, — разве приснится,
как мы листвою ручьём.
С камня на камень брожу по гробницам —
чёрным, ничьим.
Или сижу под стеною, пропахшей
вечностью, сданной на вес,
на капители коринфской, упавшей
прямо с небес.

Так вот и шарим на полках разгрома,
словно, веками соря,

в пункте приема тяжелого лома
и вторсырья.

Сладко под лавром приемщику спится —
вместе его подождем.

Что, моя ящерка, что, моя птица,
что мы сдаем?

* * *

Я не любитель руин, камни меня не волнуют,
даже если они созданы зрелой рукой.
То ли дело, когда на обломки усядется дева, —
ручкой на них опершись, ножкой по воздуху бьет.
Сразу становится мне все вокруг интересно,
я в любопытстве своем встать к ней поближе
стремлюсь.
Увы, ни разу на мне дева свой взгляд не задержит —
вижу я, скучно и ей зрелище древних руин.

* * *

Купальщицы Дега и девы Ренуара —
при всей их красоте они тебе не пара.
Ах, этот скользкий взгляд и розовая кожа!
Но мне куда милей твоя, живая, все же.

Мане бурлит, Ван Гог по-прежнему неистов...
Как пахнет юностью от импрессионистов!
И сквозь фасетки стрекозиные Сислея
вновь я гляжу вокруг светлей и веселее.

Но выбрана судьба и век во многом прожит,
и первая любовь щемит, но не тревожит.
Как линии чисты, как неоглядны дали!
Но мне куда важней оттенки и детали.

Как в детстве бабочку, скользящую над садом,
ловлю себя, когда скольжу невольным взглядом
по лицам зрительниц, по профилям прелестным, —
вот что мне кажется живым и интересным.

Я опасаясь слов «пробирка» и «реторта».
С прозрачной памяти пыльца невольно стерта.
Так много здесь теней, а там так много света, —
но ты жива, и я люблю тебя за это.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИМИТИВЫ

1

Мир переполнен запахами снов.
По тверди шарят пальцы звезд незрячих.
Кричит петух, закрытый на засов,
как падший ангел, крылья раскорячив.

Ржут лошади, жрут свиньи, режут хлеб,
жируют черви в недрах чернозема.
Земные твари окружили хлев,
как толпы черни — царские хоромы.

Всё это было — было сотни раз,
всё это краски и холсты — и только.
Но в небесах сочится Божий глаз,
живой, как апельсиновая долька.

Сейчас протянет руку тот, из тьмы,
и захрустят раздавленные склеры,
и на пустой дороге станем мы
невольными свидетелями веры.

2

Клюют нахохленные птицы
из рук дородных аонид,
и череп в зеркало глядится,
и речка подо льдом блестит.

3

Давай прогуляемся в парке Руссо,
где бродит лошадка с тележкой
и свежую краской горит колесо,
не знавшее грязи. Не мешкай,
садись — и отправимся рай догонять,
немножечко плоский, но яркий,
где сдобную Еву так сладко обнять,
как помесь свинарки с дояркой.

Под каждым листом нам зажгут фонари,
нас встретит свобода у входа,
а мы повстречаем Гийома с Мари
и много другого народа.
Здесь птицы гуляют в пространстве пустом
и звери в одежде нарядной,
ведомые верою, данной холстом,
распятым на раме квадратной.

Жизнь в трех измерениях легка и чиста,
проста, как привычное чудо.
Мы встанем со всеми на фоне холста,

сюда обернувшись оттуда.
И станем со всеми смотреть, не таясь,
на то, что отсюда незримо:
на подлость, и мерзость, и низость, и грязь,
и счастье, спешащее мимо.

МЕЛАНХОЛИЯ

Стала складываться тоненькая лирика,
гуттаперчевая, как эквилибристка.
Словно сумеречный обморок де Кирико —
все пустынно, и округло, и ребристо.

Сам не знаю, что мне делать с этой ношею,
с этой тонкой, чьи ладошки, как закладки, —
Вон за тем углом, наверно, просто брошу ее
и уйду до горизонта без оглядки.

НАЧАЛО ВЕКА

Ну, что еще? Ну, флейту попроси,
ну, клавишам шепни: когда начнете?..
Рассыпчатый Равель и Дебюсси,
подпрыгивающий на каждой ноте, —

всё песенки... Так чудно, так легко!
С чего ж на всякой тени желторотой
казенное клеймо «Тоска и К°»
уже сквозит предсмертную икотой?

Всё уже эта петелька: ужé.
Пока сухой горох слетает с клавиш,
уже в ином краю, в чужой душе,
как это было въяве, не представишь.

А там, среди неведомых равнин,
уже кипит работа молодая
и нервно курит русский господин,
судьбу над переводами ломая.

Он создает не фразу, а контекст
и с пылом неофитов-одинок
склоняется, несчастный, как отец,
над колыбелью двух сиамских строчек.

Он звуками, как слухами, оброс.
в одной тоске от общих бед коснея,
пока рассвет краснеющий занес
над бедным прахом руки брадобрея.

* * *

Ледок промерзает до хруста,
никак не согреться в тепле...
Мне пусто, как комнате Пруста
в музее Карнавале.

Среди законных пейзажей,
таких же пустых по зиме,
я тоже покинут и зажил,
как комната, сам по себе.

Осыпалась позолота,
давно заржавели ключи,
ни грязи, ни пыли... Но кто-то
все ходит и ходит в ночи.

То стулом скрипит, то кроватью,
то молча сидит без огня...
И все не решаюсь сказать я,
что гений покинул меня.

* * *

«Ум всегда в дураках у сердца», — оставил
нам Ларошфуко свое наблюденье.
Как щемит в груди от него! А все же
сила разума горше, чем сила чувства.
Перевод с французского тем и тонок,
что невольно высь сопрягает с бездной.
Остается зазор, объяснимый только
в переводе с русского на небесный.

* * *

...Небось, Верлен в приемных не потел
и не слагал министрам мадригалов —
литература, все-таки, удел,
как это ни печально, маргиналов.

Не вся, не всех, но все-таки. Беречь
приходится опять не крик, а шепот,
особенно когда заходит речь
так далеко, что нужен слух и опыт.

* * *

Наташе и Жерару Мартен

Рембо в двенадцать лет. Рисунок Берришона.
Верлен в тринадцать лет. Дагерротип Тилье.
Они еще глядят по-детски отрешенно.
Они еще в семье. Они еще в тепле.

Что в детстве кроется, что в юности таится,
мы можем подсказать и знаем наперед.
И только отрочество — тайная страница,
где все замарано, и оторопь берет.

Один вонзился в нас тяжелым детским взглядом.
Другой, наряженный, уставился за край
бумажного листа... И все, что станет адом,
еще лежит у ног и ластится, как рай.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОНЦЕРТЫ

1

Лило в Рождество Христово —
досталось в тот год Парижу!
Припомню его и снова
под шорох дождя увижу:
химеры пускают слюнки,
как будто сосут ириски,
а Моцарт ходит по струнке
за властной рукой арфистки.

Торговцы, студенты, клерки,
плащи, свитера и шарфы —
под сводом больничной церкви
качаются ветви арфы,
и бьется вода о стены,
и в храме, как в трюме, глухо,
но сладко поют сирены,
моля о спасеньи духа.

И все уплывают в этом
ковчеге, почти счастливом,

на голос далекий, следом
за тайным его призывом,
покуда под купол скорбный,
сквозь форточку, на излете,
влетает сирена «скорой»,
вопя о спасеньи плоти.

2

Орган, словно дудка сторотого Пана, —
прощай, тонкорунное стадо тумана!
Я вышел на берег дождливого дня —
прощай, золотое! Пасись без меня!

А там, на далеком рассвете религий,
я слышу: «Он умер! Он умер, великий!»
И всходит руно, как рассвет на дрожжах,
но время иное дрожит в витражах.

И сыро снаружи, и мокнет ограда,
и пахнет простудой дыханье органа,
и город окутан тем самым дождем,
которого вовсе не жаждем, но ждем.

В нем снова, как встарь, ни добра и ни худа —
ах, нимфа, давай-ка слиняем отсюда!
И будем бродить по пустой мостовой
и пить из копытца волшебный настой.

* * *

Анюте

...Дорога падает развилка за развилкой
во мглу молочную — и вот уже туман
вовсю старается стирательной резинкой
и перекраивает видимый изъян.

И в мире блеклого, скупого от деленья
на сотни капелек, размазавших пейзаж,
как девы Бёклина, склоняются деревья,
и ветром вымаран под краской карандаш.

Всё в пятнах серого и смутного. И кроме
китайской туши, проступающей сквозь мел,
как нервы глаз в анатомическом альбоме,
обнажены переплетения омел.

Так что же видишь ты, друид, на перекрестке,
где тормоза скрипят на медленном ходу,
как будто гладят против выскобленной шерстки
единорога в околдованном саду?

Всё смыто временем. Но выкроены платья
по мерке прошлого и тают, шелестя.
И Остров Мертвых раскрывает мне объятия,
как сердце матери — Грядущему Дитя.



ПАРИЖ. КРАТКИЙ ВАКХИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Мы вышли рано-поутру
у башни Монпарнаса,
там, где на будничном ветру
клокочет биомасса:
спешит студент, проходит клерк
и нищий клянчит грошик...
Уже расцвечен фейерверк
кафешек и бистрошек.

Как замечал Андре Дерен,
я знаю, *где* на рю де Ренн.

По рю де Ренн не близок путь,
и, как во время оно,
нас зазывают отдохнуть
ступени «Одеона».
Здесь вся Европа — красота! —
на сцене и в партере,
и на ступеньках есть места —
присесть, по крайней мере.

Как заявлял Тристан Дерем,
не важно, где, а важно, с кем.

Сейчас бы взять наперерез
пешком по Мазарини,
сквозь Лувр до «Комеди Франсез»,
манящей и поныне.
Там снова «Сид» и «Сирано»,
и толкотня у стоек,
и, если хватит сил, оно
того, ей-богу, стоит.

Как проронил де Бержерак,
не важно, с кем, а важно, как.

Но мы поклонники, как встарь,
Латинского квартала,
здесь самый первый наш букварь
история листала.
Кругом любимые быстро —
подхватим Каллиопу
и по бульвару прямо к про-
копченому «Прокопу».

Как здесь говаривал Верлен,
абсент не любит перемен.

Но мы как раз иных кровей
и славим перемену,
а потому — держи правей,
на смену Сен-Жермену
свернем на улочку Бюси,
туда, где прямо в давке

ползет авто, гудит такси,
распахнуты прилавки.

Как говорит Бриджит Бардо,
и кенгуру найдет бордо.

Что там по курсу — неужель
веселый, забубенный,
любимый всеми Сен-Мишель
с прославленной Сорбонной?
Да здесь туристов — легион,
какой там, скажем, Сохо?
И всюду плещет «Кот дю Рон»,
коль горло пересохло.

Как намекал Клоделю Пруст,
мой бар уже неделю пуст.

А вот и Сена — пройден путь
почти до половины,
и на Сите пора свернуть
у площади Дофины.
Взгляни на карту — как манит
зеленый треугольник:
остри фантазию, пиит,
топонимов невольник!

Как написал Филипп Солерс,
Париж пред нами срам отверз.

Хотя какой там, к слову, срам?
Да просто нет вопроса,
коль можно выпить по сто грамм
родного кальвадоса!
Теперь на остров Сен-Луи:
не в силах устоять я,
спеша, квартал Маре, в твои
назревшие объятья!

Как метко бросил Жан Маре,
мне по нутру квартал Маре.

И в самом деле, кто бы смог
уйти от этих винных —
среди невидных синагог —
кафе, таких невинных?
Не потерять бы только нить —
здесь подадут пример нам,
как приманить и угостить
проверенным кошерным.

Воскликнем за Гертрудой Стайн:
какая нация без тайн?

Но нам на север — вдаль и ввысь,
и нас влечет недаром
по узким улочкам пройтись,
и по Большим Бульварам.
Теперь держись, кто не ослаб,

здесь не в ходу подранки;
зовет индус, бубнит араб,
взывают африканки.

Как сообщал Андре Бретон,
(а не Шекспир): весь мир — притон.

Но мы идем своим путем,
и нас с него не выбить.
Монмартр! Кому еще на нем
не приходилось выпить?
У тех, кто доверху долез,
закваска не ослабла.
Здесь пил Гийом, и Макс, и Блез,
Морис, и Жан, и Пабло!

Как дополнял Бретона Сартр,
весь мир — притон, но дверь — Монмартр.

А мы попали в самый раз
на праздник винограда:
здесь всё — на вкус и напоказ,
здесь всей страны отрада.
Здесь, на пиру долин и гор,
со всеми вместе свой я —
здесь пьют Прованс и Перигор,
Бургундия, Савоя.

Как уточнял Аполлинер,
с десятой тянет на пленэр.

А это значит — в небеса:
туда отсюда ближе,
и всё прозрачней голоса
вечернего Парижа.
Здесь пахнет раем каждый сад,
его вином и пищей —
бежит матрос, бежит солдат,
студент, и клерк, и нищий...

А я скажу, как Жюль Лафорг:
я свой восторг уже исторг!



ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

* * *

Все посланья мной уже получены —
я теперь их только распечатываю:
нахожу конверты стародавние,
в книге ли заложенные, просто ли
завалывшиеся между папками;
нахожу в них маленькие сведения,
извещенья или приглашения,
так моею жизнью и не ставшие.

Все мои друзья уже проявлены —
я теперь их только распечатываю:
нахожу на старых пленках кадрики,
не остановившие внимания,
заслоненные иными планами,
где все больше, четче и красивее;
но теперь куда милей расплывчатость,
беглость, переполненность деталями.

Все мои стихи уже написаны —
я теперь их только распечатываю
на машинке старенькой, зависящей

от погоды, и к дождю суставами
начинающей скрипеть; и литеры,
скачущие, стертые, откуда-то
из небытия доносят прежние
ритмы, перепевы, звуки, шорохи.

Все мои бутылки прежде куплены —
я теперь их только распечатываю:
запиваю строки неуклюжие,
запиваю лица заповедные,
запиваю вас, приметы прошлого,
забываю, что успел начать.
На ладони остается крошево —
вот и снята первая печать.

* * *

Я сажусь в электричку и еду в ближайший пригород.
Я слушаю местный выговор. Я приколот,
как мотылек, к пустому окну, за которым прыгают
капли и градины. В щели вползает холод.

Два иностранца, бог весть откуда, глядят, судача,
как за окном появляется то, что имеет сходство
с тем, что на всех языках называется *datcha*, —
а по-русски, огородничество и садоводство.

Эти временки, и ржавь, и горбыль, эта серость и сырость,
эта, на взгляд иностранный, фантастика в духе Стругацких,
и — как ни силось иначе сравнить — все равно,
что приснилось:
это подобие братских могил, безымянных, солдатских.

И получается так, что когда меня спросят: а смог бы
я в двух словах рассказать о земле, на которой вырос? —
не назову ни березы, ни пальмы, ни клюквы, ни смоквы,
скажу про горбыль, опилки, фанеру и сырость, сырость...

УЛИЧНЫЕ ВЕРЛИБРЫ

Что хорошего в уличных художниках?

Они навязчивы и хамоваты,
они малоталантливы, но корыстны,
они развязны и порой под мухой.
Но когда они ловят жертву
и та наконец садится позировать —
прихорашивается, приосанивается и улыбается,
я думаю: до чего же молодцы эти художники,
которые заставляют собратъся,
заставляют улыбнуться,
заставляют глядеть открыто
и трепетать, трепетать от надежды
этих девчонок и женщин.

Что хорошего в уличных фотографах?

Они путаются под ногами,
они стараются всучить вам свои квиточки,
они взывают к вашему тщеславию,
надеясь на нем неплохо подзаработать.
Но когда вы клонете на их вылетающих птичек
и получите из далекого южного города

втридорога оплаченные фотографии,
вы увидите себя солнечным утром на центральной улице,
с блаженной улыбкой и открытым ртом
взирающего на прохожих, и поймете, что это утро многого
стоит.

Что хорошего в уличных точильщиках?
Пожалуй, вам уже никто не ответит,
что в них хорошего и что плохого.
Их уже не осталось в городе —
исчезли, испарились, вымерли точильщики.
Та же судьба постигнет когда-нибудь
уличных художников и фотографов,
но я-то помню, помню,
как слетали искры с кремневого круга,
освещающая мое детство
острым, слепящим, щемящим, мгновенным огнем.

* * *

Андрею Чернову

К тридцати мы забываем науку,
которой нас обучали в детстве:
не хныкать, не ябедничать, не трусить.
Чуть что заболит — начинаем охать,
на соседа показываем пальцем,
от зависти к чужим игрушкам
готовы их сломать, похитить.

К сорока нас обуревают страхи,
детские массовые психозы:
за каждым углом нас поджидает
зыбкая тень папаши Фрейда.
Инфантильная меркантильность
перелопачивает судьбы
в грезах о наследстве, о кладе.

К пятидесяти, когда начинает
медленно вымирать поколеньё,

тянешь на себя одеяло,
примеривая к себе чужие
письма, поступки, порывы, болячки.
А в зеркало пальчиком грозитя
поздняя наука детства.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Земную жизнь пройдя до половины,
я заглянул в подземный переход.
Навстречу, как река из горловины,
выплескивался на берег народ.

Меня влекло попутное течение —
как в отрочестве взятый «на слабо»,
я сам нырнул под землю легче тени,
вослед волне и вспомнив о Рембо.

Я за минуту жизнь прожил в рассрочку —
дитя в пуху и старый хрыч во мху —
и вся она, спрессованная в точку,
была подобьем жизни наверху.

Покуда шла вселенская продажа,
я плыл, от вожделения дрожа,
я — маленькая жертва абордажа,
неопытная пьяная баржа.

Мы плыли — все! Какой-то силой вышней
нас увлекал безудержный поток,
«И черным ходом к будущему вышли», —
я громко повторил бы, если б смог.

Но как его ни пестуешь, ни холишь —
стих не приблизит радостный финал,
и свет в конце туннеля был всего лишь
прозрачной гранью между двух зеркал.

Меня валы могучие качали,
и с двух сторон у выщербленных стен
вослед мне пели, клянчили, кричали
и зывали тысячи сирен.

И завернув в цветастую полу
дитя с чертами выроodka-сатира,
сидела на заплеванном полу
любовь, что движет солнце и светила.

* * *

Вячеславу Лейкину

Чем больше клеветы, тем больше в ней
правдоподобия; авторитеты,
растущие, как волос на покойнике;
содружеложество; игра в подлянку;
сначала — «Приключения Свиноккио»,
позднее — съездопад; потом эпоха
вымиранья бабочек; явление
тех, чей образ, предположим, мыслей —
истерика; «спидолище» поганое,
пожирающее время и словарь;
да вот еще бродящий по газетам
смешной и злобный карлик, все готовый
измерить собственным аршином, ибо
паскудное житье определяет
ущербное сознание.

Между тем

телячьи нежности пошли на отбивные,
и голубятни над забором детства,
подобно вышкам в зоне, поднялись.

Пройдя сквозь тьму своих несовершенств,
мы вышли к свету,
 ну а там —
чем больше клеветы, тем больше в ней
правдоподобия...

* * *

Среди раздрая и разора
всего, что выбросила прялка,
скрипит бессонная рессора,
скрипит рессора катафалка.

Уже пошла такая пьянка,
что перекручивает участь,
и что ни год, все ниже планка,
озвучивавшая везучесть.

Пока судьба свистит, не пряча
свои приманки и уловки,
пора смиряться, что удача —
итог спортивной подготовки.

А потому среди разора
всего, что выбросила прялка,
как встарь, лишь то растёт из сора,
чего не стыдно — и не жалко.

* * *

Зимний день в окрестностях Гааги.
Люди, лодки, тучи, шпили, флаги.
Весь ландшафт — простор и теснота —
нынче не руины и овраги,
а сиянье, бьющее с холста.

Над былым нетрудно изгаляться,
если стерто прошлое до пят.
Пусть парят летучие голландцы —
малые голландцы мир творят.

Так в эпоху, пахнущую шквалом,
есть немалый прок остаться малым.
И пока бушуют вест и ост,
свищет птица за окошком талым,
тенью перечеркивая холст.

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

Лишь ты, воробей, не подвластен печали,
покуда собратья твои одичали:
тот дружбу с котами заводит,
тот песню военну заводит.

А ты всё трепещешь, а ты всё ершишься,
над каждой крошкой своей веселишься —
хотя и ничтожная малость,
а все-таки честно досталась.

Ты скромное детище нашей системы,
и чувствую я, что с тобою в родстве мы:
нашли подходящие ниши —
не выше других и не ниже.

Ты не был халдеем, а я — лиходеем,
и всё же надеюсь, что мы уцелеем:
за горстку удачи с везеньем
заплатим терпеньем и пеньем.

* * *

Хорошо умирать, как листва, —
красиво и ароматно.
А у человеческого естества
сплошные трупные пятна.

Хорошо умирать, как пруд, —
покрываться кувшинками, ряской.
А смерть человека — труд
безобразный, не схожий со сказкой.

Род людской отличает от
природы совсем не сознание,
а то, как он мерзко мрет
и как приятно нам природы увяданье.

* * *

Марине и Грише

Сгорает последняя горстка,
прощальная горстка друзей.
Опять не хватает подшерстка,
но в детстве бывало теплей —
поскольку небесные трели
нет-нет да стучали в стекло,
поскольку иллюзии тлели
и грели, давая тепло.

Но ежели честно признаться,
с былым не вступая в игру, —
не так-то уж нам обольщаться
случалось на прошлом ветру,
на зыбком ветру перекрестка,
под взглядом опасливых глаз,
покуда колючая шерстка
вовсю отрастала у нас.

С годами найдется управа
на то, чтоб не слишком пропасть.
Но главное вовсе не слава,
не память и даже не страсть,
а тот неприметный подшерсток,
хранитель естественных сил,
как тот непременный подросток,
который нам души слепил.

* * *

Что осталось от наших игр?
Где вы, игры?
Умер Ваня и умер Игорь.
Нету Иры.
Стариков хоронить и то
просто мука.
Жизнь уходит сквозь решето —
и ни звука.

Разгребай свои погреба,
жди подвоха.
Что нам выпала за судьба,
за эпоха?
Мы-то думали жить и жить
век отборный,
а приходится шить и шить
саван черный.

Вслед повесткам живем и вслед
похоронкам.
Время смотрит на белый свет

вороненком.
Ждем привычно дурных вестей
поневоле.
Не собрать нам своих костей
в этом поле.

Умирают мои друзья
молодые.
Что нам выпала за стезя,
за гнедые?
Путь не хожен, а жизнь груба —
и ни вздоха.
Разгребай свои погреба,
жди подвоха.

* * *

Какая великая пустошь!
А еще вчера здесь шумели деревья.
Говорят, в их кронах гнездились нечто,
покрытое перьями, открытое свисту.
Теперь остались пни да обрубки,
исковерканные, в замшелой коросте,
в лучшем случае — распиленные бревна,
готовые отправиться в печи.

А вот и деревянная братия
столяров, топоров, рубанков,
с хищным своим глазомером,
с комплексами папы Карло:
кого тут обстругать, ошкурить,
обтесать по своему подобию,
обучить наглядной науке,
как не видеть дальше собственного носа?

А когда-то на этом месте,
говорят, бушевало море,

и прибой обрушивал на берег
живое многотонное эхо,
и порою забредала в невод
маленькая золотая рыбка,
чей остов нынче выставлен в музее
на обозрение спешащему Буратино.

* * *

Два месяца висел над нами зной,
дыханьем небо бледное прочистив,
и редкий дождь, как ножик разрезной,
шуршал вдоль желтых выгоревших листьев.

С залива наползал под вечер смрад,
отпускников сдувая из-под тентов,
и рос на горизонте Пустоград
огромной кучей белых экскрементов.

Над просекой столбом стояла сушь,
зудел комар, упрямый, как мятежник.
Метафорой древесных мертвых душ
похрустывал в черничнике валежник.

А воздух плыл, а жизнь текла, спеша,
так бегло, наугад и так некстати,
что превращалась в перечень душа,
внезапно обрываясь на цитате.

И дождь шуршал, как ножик разрезной,
небрежно обрезая междометья,
и желтый лист опять дышал весной,
очнувшейся на миг в чужом столетье.

* * *

Дог с купированными ушами
лежит, оккупированный малышами.
Один его тискает, другой ласкает,
а он попискивает да зубы скалит.

О этот детский и псиный запах!
Мимо бежит на спесивых лапах
с видом кающимся и покорным
такса, пахнувшая попкорном.

Пробежала б себе — и с богом!
Но у нее отношенья с догом.
И вот они счеты друг с другом сводят
и тем хозяев друг с другом сводят.

И тут же бурлит, мельтешит, горланит
дворовый, здоровый духом парламент,
в котором ни спикера нет, ни фракций
и дух какой-то семейный, братский.

Дети кричат. Старики гуляют.
Такса и дог на дворнягу лают.
И та семенит вдоль стен, бедолага,
как жертва гетто, дитя ГУЛАГа.

* * *

Жил-был еврей рассеянный
во всей красе и силе.
Жил-был, как все, — рассеянный
почти по всей России.

Средь улиц и завалинок
жил при своем достатке:
на пятки вместо валенок
натягивал перчатки.

Бродил своей походкою
от Вятки до Анапы
порой со сковородкою,
надетой вместо шляпы.

В вагончике отцепленном
так сладко просыпаться!..
Теперь в золе и пепле нам
приходится копаться.

Все выскоблено дочиста
и выгорело начисто —
осталось только творчество
по имени Чудачество.

Чудачество! От мира ведь
куда ему деваться?
В Чудетство эмигрировать
и заgrimироваться.

Кати в своем вагончике,
нелепый, бесполезный,
по лезвию, на кончике,
над этой страшной бездной.

Глядишь, и карта выпадет,
и вытянется фант..
Ну, что еще нам выпадет,
еврейский музыкант?

* * *

Дитя уснуло на груди
Мадонны. Что там позади?
Дымы и птиц летящих сажа.
Я, как художник прежних лет,
библейский выстрою сюжет
на фоне отчего пейзажа.

Пусть перспективу видит глаз.
Не так уж важно, что сейчас
творится здесь, на первом плане.
Тут иллюстрация, а там
все бrenным отдано делам:
гражданской и военной брани.

Там шум колес и скрип рессор,
там день за днем сплошной разор,
там жизни режут на кусочки.
А что дитя? Чуть-чуть поспит,
потом проявит аппетит
и грудь сосет без проволоочки.

Там смерть и пот за годом год.
А что дитя? А все сосет
и спит. Сосет и спит, покуда
мы превращаемся в навоз
под скрип рессор и шум колес.
А он все спит. И в этом — чудо.



ПРОЗА ПАМЯТИ

* * *

Жизнь в поисках утраченного смысла
бессмысленно потратится сама.
Игра ума должна быть бескорыстна —
иначе это ханжество ума.

Так пес мой, без опаски, без оглядки,
порою то воркуя, то сопя
валяется в углу, задравши пятки,
ни для кого — но только для себя.

* * *

Времена не слишком им потрафили —
то пробел откроешь, то провал.
«У меня тоска по биографии», —
Эйхенбаум Шкловскому писал.

Годы не сломили их, но выжали,
до упора закрутив тиски.
Оттого-то, может быть, и выжили,
что хватило силы для тоски.

Так порою дернешься: рискни-ка мы —
все пойдет на слом и кувырком...
Стол. Окно. Бумага. Полка с книгами.
Дотоскуем, что не доживем.

ИЗ ДНЕВНИКА ПЕРЕВОДЧИКА

Какая дурная история
случилась с моим ремеслом:
прощай, дорогая Эстония, —
полжизни отправим на слом!
И как там душа ни лелеяла
твой говор, и гонор, и статью,
но Арви, и Рейна, и Леэло
я так и не смог досказать.

Не думал о призрачной славе я,
копая прозрачный родник:
прощай, дорогая Молдавия, —
к чему тебе русский язык?
Цветов бесшабашная оргия,
и сладость, и зной, и ленца,
но Петру, Иона, Георге я
не смог досказать до конца.

Не будем большими провидцами,
и, что там в душе не таи,

мы вновь заглушили границами
не тяжбы, а дружбы свои,
влечения сердца и разума
отправив под спуд и в запас...
Но все, что у нас не досказано,
никто не доскажет за нас.

ПРОЗА ПАМЯТИ

Мина Исаевна Дикман,
незабвенный редактор,
в начале семидесятых
мне говорила веско:
– Если вы хотите,
чтоб книга ваша вышла,
выкиньте все посвящения,
эти альбомные штучки.
Глеб Сергеевич не обидится,
Борис Яковлевич тоже,
а уж Ефима Григорьевича
и вспоминать неуместно...

В начале семидесятых
мне до того хотелось
быть со всеми, рядом,
с друзьями, с учителями!
Глеб Сергеевич умер.
Борис Яковлевич тоже.
Ефим Григорьевич превратился
в почту с оказией,

в беглый почерк.
Вот и Мины Исаевны нет на свете,
и книга, конечно, так и не вышла.

Ходит-бродит по дому
русская культура,
гасит настольные лампы,
запирает покрепче двери,
уходит, исчезает,
и только остается
прапамять,
запамять,
проза памяти,
проза памяти посвящений.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Леониду Цывьяну

Мне этот вечный сад все больше
напоминает зыбкий сон,
где узнаваемы детали
и только взгляд чуть-чуть смещен,
где под корою, как в подкорке,
таятся земли и края,
где под ногой шуршит валежник,
как время прошлого.

А я,
заложник следовых реакций,
ступаю по чужим следам,
садовнику и дровосеку,
я всем и каждому воздам;
и в этом сне себя, быть может,
воображать всего точнее
как свежий след вчерашней яви,
аукопись грядущих дней.

КТО У НАС ДЕЛАЕТ ЛИТЕРАТУРУ

Уцелевшие двадцатых,
обреченные тридцатых,
перемолотые сороковых,
задушенные пятидесятых,
надеющиеся шестидесятых,
исковерканные семидесятых,
разобщенные восьмидесятых,
нищие девяностых —

уцелевшие, обреченные, перемолотые, задушенные,
надеющиеся, исковерканные, разобщенные нищие...

* * *

Это место, где меня не любят —
здесь иных лелеют и голубят,
на ином каком-то вираже.
Здесь не продадут меня, не купят —
что же так паршиво на душе?

Может, оттого, что в дальней дали
мы когда-то вместе начинали
дуть в заветный трепетный рожок,
острою надеждой начинали
драгоценный школьный пирожок?

Может, оттого, что даже муза —
дело только выбора и вкуса,
как и с кем страдать и сострадать?
То, что мне, скорей всего, обуза,
здесь, всего скорее, благодать.

Разбежались, жизнь пересекая,
из бывалых рук не выпуская
ни пера, ни верного куска.
Может, оттого она такая —
неживая, мертвая тоска.

* * *

Черемухой пахнет цветущий миндаль —
мне этой строки неожиданно жаль:
осталась никчемной, бездомной,
лежит себе в папке укромной.

А жаль — потому что явилась на свет,
и вот уже брезжит неясный сюжет,
его застеклить и обрамить
спешит пробужденная память.

Не стоит ходить вперемежку с толпой:
сюжет — это то, что случилось с тобой.
И сладкий миндаль отчего-то
горчит, как семейное фото.

* * *

То, что раньше считалось конспектом,
беглой записью мыслей чужих, —
называется нынче концептом,
превращается в прозу и стих.

Раньше были этапы и ссылки,
и доносы, и брови вождей.
Нынче стали цитаты и ссылки
прежних страхов и крови важней.

Ничего не случилось. Культура
превращается в кокон, пока
зреет в куколке барсова шкура,
чтобы лечь на плечо мотылька.

И в заботах о кукольном скарбе,
чтобы душу занять и развлечь,
ходит лирика с розовой Барби
и коверкает взрослую речь.

ПАМЯТИ ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВА

- Сколько росту вы весите?
- Метр семьдесят килограмм.
- А куда вы все время лезете?
- Лезу за пазуху вам.
- А что вы там ищете?
- Камень.
- Он не под мышкой, а в почке.
- И что вы там рвете руками?
- Я собираю цветочки.
- Нельзя разрушать искусство,
душе пустотой грозя!
- Тогда покажите пусто
и дайте мне, что нельзя!

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

Сергею Махотину

Люблю основу всех основ —
поэзию служебных слов.

Я слышу, языком потрогав,
восторг союзов и предлогов,

и птичье пенье «ни» и «не»
с утра до вечера — во мне.

Люблю, как детское спасибо,
упрямство «бы», сомненье «либо»

и к нетерпению громких «ну!»
я всей своей душою льну.

Как хруст в лесу опавших веток,
я слышу «то», и «так», и «этак»,

и различаю без труда
ворчанье «нет», урчанье «да».

Да я и сам себя во многом
нередко чувствую предлогом,

чтобы рождался из частиц
союз детей, зверей и птиц!

* * *

Я не видел Берестова грустным —
я запомнил Берестова устным,
с песенкой да байкою о том,
как Чуковский спорил с Маршаком.

Что дается детскому поэту?
Если повезет — запомнить эту
заповедь, важней иных наук,
что в стихах всего дороже звук.

От того и не был он печален,
этот звонкий голос дяди Валин,
тенорок, переходящий в смех,
звук держал — за них, за нас, за всех.

* * *

Марку Вейцману

Эта стирка, эта глажка,
эта поясница...
Подожди меня, рубашка,
дай в тебе родиться!
Подожди, не расползайся,
не трещи натужно,
нам с тобой второго зайца
и ловить не нужно.

Мы с тобою попотели,
в травах полежали,
на далекой параллели
морем подышали,
походили на собранья,
правда, вряд ли с толком,
пообтерлись от старанья
по архивным полкам.

Подожди меня, рубашка,
вот и вся награда.
Пусть не мучится портняжка,
мне другой не надо.
Тихо скрипнет половица
возле шифоньерки...
Если выпадет родиться —
будешь мне по мерке.

ПАМЯТИ ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ

Что-то было упущено в восемьдесят восьмом —
в тот непредвиденный год, когда начались разъезды.
Белый свет оказался не просто беглым письмом,
но буйной розой ветров, осыпающих норды и весты.

Что-то было упущено, а что — теперь не понять.
Мир начинал делиться на образы и подобья.
Две стороны света превратились в четыре и в пять,
а шестая часть обернулась простою дробью.

Что-то было упущено — словно легкая нить,
там, в лабиринте, и тщетно шарить по стенам.
Что-то надо было запомнить, сохранить и не обронить,
но гнездо, когда пригляделись, было холодным и
опустелым.

Птичка уже вылетела — так с тех пор и стоим
на разудалом фото, в Гренобле, над быстрым Изером,
еще не зная, что ничего не запомним, не сохраним,
кроме оглядок, фрагментов, обрывков, исписанных
блеклым и серым.

А как все искусно выстроено — и за спиной обрыв,
и безоглядная даль, которую не измерить!..
Но что-то было упущено. Так возникает миф —
сладкая сказка, в которую горько верить.

* * *

Только в юности легко писалось —
муза, муза, я почти ослеп!
Не случайно мама опасалась
за неверный этот хлеб.

Я бреду на ощупь по странице
вдоль садов и городов,
пальцами ощупывая лица
встречных букв и проходящих слов.

Что же остается мне? Терпенье
пополам с надеждою, пока
утреннее внутреннее зренье
пробивает тьму черновика.

Ангел за рукав меня не тронет,
не окликнет голос, юн и чист,
разве что в ладонь мою обронит
куст осенний
свой последний лист...



ДВЕНАДЦАТЬ

1

Бросил писать. Не хватило таланта или работоспособности. Всё оказалось в силе духа, в жизненной силе и в ежедневном труде. Запил. Оброс бородой. В бороде, как в старинном английском лимерике, поселились птицы. Потом появились мымрики и стали клянчить на выпивку. Он бороду окунал в водку, в широкий бокал, чтобы всем хватало. Мымрики расплодились. Когда мы его хватились, он был уже выбрит, сидел на Пряжке и птицам, как крошки, бросал из окон бумажки.

2

Бросил писать, потому что понял нелепость этих защитных стен. Как ни строил крепость, она уже не спасала от передряг. Тут-то и объявился незримый враг:

предательство. Долго не мог понять, кто предал, — он ли,
его ли?

Вдруг очутился в бескрайнем поле.

Трижды пытался — бороться, смириться, забытья,
но страница
оставалась нетронутой. Комкал ее. И ком
в горле стоял колом.

3

Бросил писать, потому что влюбился. Стало
совершенно понятно, что прежде писал от накала
комплексов, одиночества, лицедейства.

Превратился в отца семейства
и разве что утешался экспромтами к датам.
Стал общительным, в меру богатым,
чтобы жить нараспашку. Однако,
когда он умер от рака,
нашелся его дневник: он так себе и не смог
простить, что бросил писать. И этим себя обрек.

4

Бросил писать. Избавился от геморроя
и принялся за строительство. Роя,
копая, стругая, таская камни, доски, фанеру,
наконец-то обрел — пожалуй, не веру, но меру
и вкус: не к стихам, так к фанере, доскам, камням.

Так уставал, что порой напивался в хлам.
Но думал, все время думал: не о судьбе, об оснастке.
Дом постепенно строился и что-то росло на участке.
Ездил туда через день, через два, через три. Через четыре года
жена ушла. Наконец-то пришла свобода
ездить туда ежедневно, что ни день упиваться в дым.
Что-то мы редко видимся с ним.

5

Бросил писать, потому что старость подкралась.
Оставалась какая-то малость,
чтобы все устроить, понять, но не вышло. Отказывала
голова
и не срабатывал организм. Едва
просыпался, как начинал себя сомненьями мучить,
а плоть начинала сперва досаждать, а потом канючить
и требовала покоя. Он засыпал
в кресле и засыпал
пеплом старенький плед, залатанный кем-то из прежних
жен. А из впечатлений вовсе не стало внешних,
только те, что внутри. Но уже
было неясно, где: вне души? за душой? в душе?..

6

Бросил писать, потому что схватился сдуру
за халтуру: редактуру и корректуру.
Было уже не до славы, но хотя бы побыть на плаву.

Ринулся в прозу. Месяц за месяцем мучил главу повести, так и застрявшей на первых страницах. Вскоре халтуры прибавилось. Разве что ночью приснится зыбкое нечто, влекущее нечто, — казалось, вот-вот... Сон исчезал. И манили аванс и расчет. Правил. Писал на полях. Относился с душой. Но поля были собственностью. Чужой.

7

Бросил писать, потому что дышал на ладан. Вера спасла. Предпочел греховным балладам пенье в церковном хоре. Светлел душой. Стал называть стихотворство паршой. Приходил и склонял, и доводы были вески, но чем-то напоминали повестки в военкомат: было столь же тоскливо и неотвратимо, и пахло, словно от детского карантина. Слава богу, исчез, превратился в забытое фото,
в горсточку праха.
Только что выпустил книжку «Звезда монаха».

8

Бросил писать, но сначала рванул на Запад. Быстро вписался. Прятал глаза под широкополой шляпой, на шее носил платок. Быстро влился в общий поток. Стал издаваться, поскольку его успели

на родине поприжать. Но, в общем, не было цели
и смысла, смысла и цели не было, хоть убей.
И вышло само собой, что он никто, и ничей,
и никому, и никак, и нигде на свете.
Быстро осел в заштатном университете
и разъезжает по конференциям с темой: «О
прилагательных цвета в романах Ивлина Во».

9

Бросил писать, потому что кругом евреи.
После первой же стопки дуря,
садился спиной к стене и смотрел в окошко, набычась,
что-то пытаясь в уме разделить и вычесть.
Сумма никак не сходилась, и все получалось так,
что жизнь у него украли. А он-то, чудак, простак,
думал, что все как по маслу. Теперь ни масла, ни хлеба,
и небо, если взглядеться, чужое небо.
Даже та, что в стакане, хотя и звалась «Московской»,
явно была отравой жидовской.
Вылил к чертовой матери! Кто-то его надоумил
купить по дешевке спирту. Наутро умер.

10

Бросил писать, потому что не смог совладать
с языком. Он хотел овладеть, со-владеть, а пришлось
соблюдать
правила, от которых тошнило, но иных сотворить не смог
и следил за другими, плюясь от несносных строк.

Верность принципам превратилась в цепную ревность.
Речь спала в словаре, напоказ выставляя царевность,
но каким поцелуем какой новоявленный Даль
оживил бы ее? О, проклятый словарь!
Так тянуло войти в поговорку — но входил постепенно в раж.
Вышел в люди сухим из воды на дорогу в тираж.

11

Бросил писать, потому что невыносимо
стало писать, потому что судьба скосила
близких друзей, потому что учителя
умерли, потому что не стало для
легких воздуха, а для души не стало
дружества, потому что перелистала
книгу судьбы мгновенная жизнь, и в ней
не обнаружилось ни высоких идей,
ни, как ни странно, тьмы этих низких истин,
кроме того, что мир во всем ненавистен
тем, кто хочет писать, но в помыслах чист —
и потому оставляет девственным лист.

12

Бросил писать. Ночью вскочил: не спится.
К утру на руках и ногах отросли копытца.
Глянул в зеркало и увидел ослиные уши.
Бросился вон из дома. К вечеру стало хуже.
Ветер носил его по земле. Потом подошел человек
и нацепил ему на уши белый венчик

из роз, а другой на него уселся верхом
и поехал в столичный город. С грехом
пополам он повез седока, под его угловатую плотью
качаясь.

Я остался один.
Больше мы не встречались.



ПРАЗДНИК УТРАТ

* * *

Память переполнилась,
переутомилась.
То, что раньше помнилось, —
то теперь помнилось.
Дорогие небыли,
золотые были, —
были или не были?
Не были. Но были.

* * *

Уже клонирована Долли
и все, что прожито, не в счет.
Стою один на поле боли —
не знаю, кто меня спасет.

Пока сбегаетесь на луг вы
смотреть на новеньких харит,
я не спеша из каждой буквы
клонирую свой алфавит.

Но он — ему-то что за дело? —
лишь повторит, что я храню.
И все, что прежде наболело.
опять болит сто раз на дню.

* * *

Начинаю новое столетье,
как воздушный замок на песке.
Выдал опечатку: стоскелетье —
подсознанию сладко быть в тоске.

Божьи твари крылышки сложили,
в кокон превратились лепестки,
все учителя уже в могиле,
в гили и во мгле — ученики.

Начинаю новый век Тарзаний
без родни, и предков, и корней.
А поэтика иносказаний
чем невероятней — тем верней.

* * *

Уйдя из-под ножа,
гляжу вперед со страхом.
Держава, Дева-ржа,
пусть меч твой станет прахом!

Покуда наяву
саднит и ноет в венах,
посыпдем им главу,
как пеплом убиенных.

* * *

Нет, классик был не прав. И, как ни посмотреть,
но и в несчастьях мы и схожи, и едины:
вдовство, насилие, болезни, пьянство, смерть —
я список общих бед прочел до середины.

И лишь искусство муз еще следит, как встарь,
чтоб чистый звук звучал и ритм земной качался,
и все бубнит, бубнит: ночь, улица, фонарь...
Аптека не нужна: повешенный скончался.

* * *

— Прощай, свободная стихия!

— Прощай, немытая Россия!

Надолго хватит этих строк,
чтобы продолжить диалог.

* * *

Праздник — это выйти и шататься,
и лежать в харкоте и грязи.
Я не знаю хуже святотатства,
чем народный праздник на Руси,
где, наскучив транспортом казенным,
по газонам топчется ОМОН,
и течет под колокольным звоном
кровь и лимфа праздничных знамен.

* * *

Покуда свято место не пустоет,
не отдадим историю векам.
Россия спит. Германия бастует.
Пол-Франции сидит по кабакам.

Я пил, как все, — но был мой тост нестоящ.
Кричал, как все, — но не ступал за грань.
А сон страны, рождающий чудовищ,
Проник мне в жабры и забил гортань.

* * *

В этом мире не хватает новизны,
скучно тянется заезженная нить.
Перелетные подробности весны
не спешат нас новостями удивить.

Все едино, и внизу, и наверху.
И низы нас удручают, и верхи.
Снег так редок, что уходит в шелуху,
как слова, не превращенные в стихи.

* * *

В зеленом тумане растаяв,
лихой собиратель примет,
снимает фотограф Китаев
тот город, которого нет.

Он дерево высмотрит или
фронтон в вековечной пыли,
глядишь, а модели — срубили,
срубили, сломали, снесли.

Он город по кадрам отстроит —
положит в альбом и тетрадь...
А все же, пожалуй, не стоит
в его объектив попадать.

* * *

Умер бомж. Как сидел на пеньке в саду,
так и умер. Теперь он сидит в аду
на своем пеньке, при своих бобах.
В рай его не возьмут — слишком скверно пах.

Как взирает с небес, кто живет в раю,
нам известно. А этот глядит в свою
то ли щель, то ли прорезь, во тьме таясь.
Что он видит вверху? Только пыль да грязь.

Видит корни пенька на своем дворе,
две чужие подошвы — дыра к дыре,
да бутылки, подобранной рядом, дно,
как дневное — сквозь толщу воды — пятно.

И когда наклоняется сверху тот,
кто ревниво бутылку свою блюдет,
этот, снизу, глядит сквозь невидный лаз
на явившийся в горлышке бледный глаз.

* * *

Что на газетке? Чох да жмых —
не упустить бы фарта!
Сегодня праздник у бомжих:
в метро — Восьмое марта.

Глядишь — и кто-то кинет грош,
пришла пора везений.
Они пьяны. И мир хорош.
И день такой весенний!

* * *

Из мира, пахнущего тенью,
я выхожу на белый свет
с локтями, черными от чтения
 свежих утренних газет,

и в мире тополиной пены,
светящейся за пядью пядь,
учусь из тени постепенно
 и привычно выпадать,

как из зеленой оболочки —
горох, покинувший стручок,
как из последней этой строчки
 выпадает первый слог.

* * *

Под говорок еврейского квартала,
где мир звучит гортанно и картаво,

под говорок цыганского квартала,
где все на свете речь перемешала,

под говорок арабского квартала —
его-то нам как раз и не хватало! —

проходит жизнь под этот говорок,
порою смерть пуская на порог:

смерть безъязыка, но в любом квартале
ее всегда и всюду понимали,

и перед ней склоняет микрофон
синхронный переводчик при ООН.

* * *

Те, кто нынче празднуют победу,
словно мышки, серы и тихи.
Не сходили в детстве к логопеду —
вот и принялись писать стихи.

Им не выговорить слов опасных,
оттого и мил унылый стеб.
Сколько же проглочено согласных,
сколько гласных выпито захлеб!

Тем, кому простой язык неведом,
по душе невнятный бред молвы.
Тише, дети!

Лучше дайте дедам
досказать, о чем мычите вы!

* * *

Мы уже не молодые.
Мы — лошадки ломовые.
Что уже, брюзжа, не ем,
возмещаю ржанием.

Худо, голодно на свете —
пожалейте старых, дети,
ради Сына и Отца
дайте горсточку овса.

Мы еще вас всех повозим
и дорогу унавозим.
Здравствуй, юный, дерзкий, злой, —
принимай культурный слой!

* * *

О, как мне доставалось!
О, как меня вело!..
Страсть переходит в старость
посредством буквы О.

Ну что нам буквы дали,
зачем они дались?
Молчи, от них подале
скрывайся и таись.

* * *

Припомню — и снова с собой унесу
мелодию, спетую флейтой и альтом:
ребенок аукает в белом лесу
пеленок, растущих над серым асфальтом.

С годами исчезнут и флейта, и альт,
и все, что оставил аэд или скальд:
и лира, и арфа, и темное слово, —
останется только свирель крысолова.

* * *

Поэзия ушла, как тайный стыд подростка,
а проза далека, медлительна, громоздка.
На полпути застыл нелепый фантазер,
оставив за спиной разруху и разор.
Раз-раз! — перечеркнул все, что копил годами,
остался лишь озон промчавшейся грозы.
И страшно повторять бездомными губами
невнятной осени печальные азы.

* * *

Я столько перевел стихов,
как стрелочник — постылых стрелок.
Труд, хоть и важен, да не нов,
хоть и востребован, да мелок.

Грохочет поезд наугад
и пропадает в новых далях,
а я, как прежде, виноват
во всех скорбях, во всех печалях.

* * *

Считаю поутру жучков и паучков,
пока окрестный мир туманами застелен.
Горошек разбросав, трещит поэт Стручков.
В античном забытии цветет поэт Камелин.

Я фауной объят и флорой окружен,
еще б живой воды — хоть капельку, хоть слово...
Но Рейн сошел с ума — кричит: «Я — Донн! Я — Дон...»
И, русло изменив, спешит на зов Азова.

* * *

Снова пахнет разором и кровью,
и у нынешних бед на краю,
как высокое средневековье,
я культурой себя сознаю.

Это значит: готовься к недоле,
репетируй, как варваров ждать.
Да они уже, собственно, в доме:
стулья сдвинуты, смята кровать.

* * *

Вот лезвие ножа, как сгусток водной глади:
в пучине дремлет смерть и назревает тьма.
А буквы плывут, вослед друг другу глядя, —
бессонные пловцы, заложники клейма.

Плыви, мой друг, плыви: я за тобою следом —
в который раз рискнем отчаянно посметь.
И там, где горизонт заведомо неведом,
я вынырну на свет и оглянусь на смерть.

* * *

То ли ранняя тьма, то ли снова зима —
тьма все громче беседует с тенью,
и, как призраки старости, бродят дома,
приходящие в заустенье.

В них еще по старинке гнездится тепло,
обветшалые двери листья,
но подъезды все чаще встают на крыло
и сбиваются в черные стаи.

Их, как гальку, катает по небу волной
облаков и минутной свободы.
А пустые провалы бредут под луной,
опираясь на дымоходы.

И покуда в полнеба гремит воронье,
бродит старость все тише, бесплотней,
и, пока я с опаской гляжу на нее,
исчезает в моей подворотне.

* * *

Одни — витии,
другие — парии.
Одних — свинтили,
других — напарили.
Одни — в кутузке,
другие — в клетке.
Живем под дулом
русской рулетки.

* * *

Бегония в бега пустилась,
кувшинка в озере разбилась,
медвежьи ушки плохо слышат,
и ландыши на ладан дышат.

* * *

Оттого, что не держал застолий,
не терпел хмельную трепотню,
волей оказался и неволей
срезанным, как песня на корню.

Свой успех другие догорланят —
в этом хоре он, как рыбка, нем,
но никем не пойман и не нанят,
и не понят, в сущности, никем.

Отвернувшись, он сидит над бездной
у окна — и, кажется, вот-вот,
беспольный, но предельно трезвый,
счета со стихиями сведет.

* * *

Вовсю свистят — а все в снегу, все голо.
Чирикают, забравшись на забор.
Когда б мы знали, из какого соло
произрастает этот бравый хор!

И тинькают синицы из тумана,
и голуби воркуют на бегу...
Но тот, кто начал, — начал слишком рано
и, распахнув гортань, лежит в снегу.

* * *

В пространстве, очерченном снами и зданиями,
свою дорожку привычно торя,
жизнь прожита
 между двумя изданиями
Академического словаря.

Язык еще не успел измениться,
перечень новой лексики краток,
зато к судьбе
 на последней странице
приложен перечень опечаток.

И это разумно: на удалении
в годы
 придется еще не раз
вспомнить о правильном ударении
и построении верных фраз.

* * *

Среди боевой воркотни,
осилив былые ухабы,
не кайся, — хотя бы вздохни,
не веруй, — но вспомни хотя бы.

Кровавая, льнет — как камедь
к разверстой альбомной странице —
судьба Ни-о-чем-не-жалеть
к судьбе Ничего-не-стыдиться.

* * *

Как пахнут старые дворцы?
Как молодые мертвецы:
историей мемориальной
и жизнью, ставшей нереальной.

* * *

Мне стыдно просыпаться каждый день.
За окнами — парад постыдных дел.
Под окнами ползет чужая тень,
чужая тень родных и близких тел.

За полстолетья все успело сгнить
до копошенья вшей, до свиста гнид,
и Ариадна потеряла нить —
теперь ее никто не сохранит.

Здесь бродят оголтелые стада,
выискивая зерна чахлых дат.
И некуда деваться от стыда
на ежедневном празднике утрат.

* * *

Жизнь предполагает одиночество —
то есть вдохновение и творчество,
но с годами все больше хочется
невеселой мысли потакать,
что, напротив, только одиночество
может эту жизнь предполагать.

* * *

Ну и досталась родня:
хлещут вино, как коня,
с гиком и посвистом! Я не
тот, что иные цыгане.

Сяду, в себя углублен,
тихо возьму поллитровку,
к рюмке подвешу лимон,
словно над дверью подковку.

* * *

Мне поздно просыпаться знаменитым.
Речь выбрана, как почва, до корней.
Специалисты по могильным плитам
пренебрегут неведомой моей.

К желаемой любви не приневолишь,
лежи себе хоть навзничь, хоть ничком.
И прочерк между датами — всего лишь
соринка между веком и зрачком.

* * *

Уставил на небо очкастые глазки:
все меньше надежды, все больше опаски, —
и ежели в этом урок бытия,
то, значит, учителем мог быть и я.



ПРОТИВ ВСЕХ

* * *

Тот вымышленный мир, в котором часть меня —
и часть не худшая! — живет, себя кляня
за блажь и промахи, за страсть к пустым порывам,
тот вытощенный ком нелепых неудач,
смех неродившийся, невыплаканный плач,
тот выношенный свет, не видный до поры вам, —
он не дает зайти за потайную грань
и регулирует спокойное горенье,
но иссушает мозг, коверкает гортань
и всё еще слепит утраченное зренье.

* * *

И то, что нам пророчили,
и то, чем нас морочили,
всё стало дымом, дымом,
растаявшим, незримым.

И то, в чем нас порочили,
всё лишь дымок на тризне.
Длиннее ли, короче ли —
сложились наши жизни:

и пепелища, и гробы,
и слава, и злословье,
и то — на доньшке судьбы, —
что мы зовем любовью,

от первой искорки в золе
до стога и до вскрика —
всё лишь осадок на стекле,
последняя улика.

* * *

Ты становишься женщиной с темным прошлым —
я дотошным с тобой становлюсь и дошлым.
Как меня ни голубит твоя ладошка,
светлым будущим здесь и не пахнет, крошка.

Всё размыто, разъято, и нет ответа
там, оттуда, где стерты места и даты.
Шепелявое «что-то» с гундосым «где-то»
собрались, точно в гетто, в одном «куда ты?»

Я не знаю, куда ты, не знаю, что там,
где за окнами воеет судьба-шакалка.
Я во сне по утрам обливаюсь потом —
у меня на примете своя закалка.

* * *

Вспоминаю о давней минуте,
как о только что прожитом сне.
«Поцелуйте друг друга — и будьте!» —
Глеб сказал на прощание мне.

Телефонную трубку нелепо
всю судьбу у виска продержать:
я глазок в это черное небо
никогда не смогу продышать.

Глеб Сергеевич! К той голубятне
нам дорогу уже не забыть.
Оказалось куда вероятней
с этим ветром и сумраком — быть.

И, взлетая над пашней и пожней,
меж воздушных колдобин и ям,
оказалось куда невозможней
прикоснуться губами к губам.

* * *

Зайду в подвальчик и выпью сто,
куплю на закусь простую снедь.
Толпа, двуполая, как пальто,
меня в морозы не будет греть.

Лесной проспект не похож на лес —
обманчив смог и туман лукав.
Куда я, боже ты мой, полез —
дурной культею в пустой рукав!

Здесь ветер свищет, гудит сквозняк,
фонтан затоптан и льдом забит,
и дом забыт — или скажем так:
виной охвачен, вином залит.

Мираж мерцающих пепелиц
кого согреет в такой мороз?
И я, как прежде, настолько нищ,
что даже пепла не смыть с волос.

* * *

Этот юноша с седыми волосами,
что он требует, куда тебя зовет?
Что глядит такими долгими глазами,
вечно полными печалей и забот?

Он глядит в тебя внимательно, как в детство,
он из прошлого раскручивает нить,
но одним концом в иголку ей не вдеться,
на другом конце узла не закрутить.

Всё не клеится, не тянется, не шьется,
расползается под пальцами канва.
Вот ему и остается, что дается,
что латается: слова, слова, слова.

* * *

Остановиться. Обмануться.
Уединиться. Растеряться.
Расстаться. Встретиться. Замкнуться.
Остервениться. Расквитаться.

Кругом туман. Дожливо. Голо.
И в полдень не видать ни зги.
Одни возвратные глаголы
и невозвратные долги.

* * *

Поцелуй, что милостыню, бросив,
исчезаешь, губы теребя.
Я живу, как выбор: за и против.
Против всех — и за одну тебя.

ПЕСЕНКА О ГЕНТЕ

Нитку в иголку вденьте,
вышейте по канве,
как мы гуляли в Генте
с песенкой в голове,
с песенкой ниоткуда,
легкой, как кружева
очередного чуда,
коим душа жива.

Словно по киноленте,
вспомнится на Неве,
как мы гуляли в Генте
с песенкой в голове.
Что за чудак-счастливчик,
древний хранитель нот,
нам подарил мотивчик
песенки без забот?

Капает дождик между
тесно прижатых крыш.
Маленькую надежду

на сердце затаишь:
капелькой просочиться,
свиться клубком, как нить,
памятью очевидца
прошное оживить.

Прошлое — что за шутка?
Так вот — сорви да брось?
Думал: не сбыться — жутко,
жутче — когда сбылось.
Счастье — неужто было?
Верилось? И везло?
Дождь кружевной уныло
замер на полусло...

ТРИ БЕЛЬГИЙСКИХ НАБРОСКА

НИВЕЛЬ

В вымершем бельгийском городке
ходим с ветерком на поводке.
Все ему потеха да забава —
тянет то налево, то направо,
и идем неведомо куда,
но идем заведомо туда.

Что там за углом себе не прочтите —
ветерок приводит прямо к почте.
Чтоб друг друга не свести с ума,
достаем украдкой два письма
и бросаем походя, вслепую, —
ты в одну страну, а я — в другую,
и идем заведомо туда,
чтоб прийти неведомо куда.

Бродим в никуда из ниоткуда.
На витрине — старая посуда:
пастушок на чашке дорогой,
юная пастушка — на другой.

Сколько им еще играть в гляделки,
оставаться не в своей тарелке?
На тарелках трещины вдоль дна,
и всему сервизу — грош цена.

МОНС

Вот тюрьма, где Верлен обратился
в христианство. А я обращаюсь
в постоянство. Он целыми днями
за грехи свои нес покаянье,
ну а я с тем же самым упорством
дни за днями к тебе вождедею.
Все сравнения здесь неуместны.
Я пока что брожу на свободе,
поднимаюсь по улочкам Монса,
наблюдаю развалины замка,
те, что он наблюдал из темницы.
Ничего не роднит нас такого,
чтобы сделаться единоверцем.
Ничего. Только беглое слово,
словно каторжник, прячется в сердце.
Ничего я не вижу, не слышу,
но могу угадать и во сне я,
как шуршит черепичная крыша
над моею судьбой и твоею.

СЕНЕФ

До чего же мучительно прощались —
ходили по запущенному парку,

собирали горстями костянику,
обжигали о крапиву пальцы.
До чего же мучительно молчали —
ты о любви своей заморской,
я о большеглазой девчонке:
как ей без меня сейчас живется,
там, у нас, в оставленной отчизне?
А потом я отходил в сторонку,
у пруда садился на ступени,
смотрел на водомерок и ряску.
Приплывала золотая рыбка,
спрашивала рыбка по-французски:
«Tchego tebe nadobno, startche?»
Господи, мне надобно столько,
что не выполнить и сказочной рыбке:
и чтоб ты от меня не уходила,
и чтоб девочка моя была со мною,
а главное — чтоб молодость вернулась.
Долго-долго смотрела рыбка,
долго молчала по-французски,
то ли о любви своей подводной,
то ли обо мне, бестолковом.
Давай хоть с тобою, рыбка,
не будем мучительно прощаться:
пльиви себе, куда пожелаешь,
пльиви себе, куда пожелаешь.

* * *

Английский парк на то и приспособлен,
чтоб из кустов явился старый гоблин.
И вот мы бродим от пруда к пруду —
смешно: не он, а я его веду.

Вот, говорю, заросшие руины,
полуразбитый лев глядит назад,
но мне все эти славные картины
не о былом, о нынешнем твердят.

Вот постамент: на нем один обрубок —
кусочек ноги, и наподобье трубок
каких-то медицинских, посмотри,
торчат из камня ржавые штыри.

А вот ступени к озеру, веками
их раздвигали мощными руками
стволы, — но те дубы, что здесь росли,
отпилены на уровне земли.

Бассейн покрыла плесень, в жизни дальней
он был — ты помнишь? — маленькой купальной.
Здесь, где мы бродим, тешилось дитя —
а где оно теперь, сто лет спустя?

Жизнь кончилась, и прежний век угроблен.
Нет, говорю, как нет...

Но старый гоблин
исчез. Я оглянулся. За спиной
вставал туман — как водится, стеной.

Там пруд мерцал, цикадами звенящий,
и терся лев о ноги нимфы спящей,
дитя ловило бабочку у пня.
Жизнь продолжалась. Не было меня.

* * *

За решеткою старого парка,
где никто из чужих не пройдет,
я увидел, как юная Парка
не спеша паутинку прядет.

— Что ты делаешь, милая дева,
закусив от усердия губу?
Это дело Арахны — не дело
рук, прядущих людскую судьбу.

И ответила юная Парка,
серебристую нить теребя:
— В этой пьесе ты только ремарка,
если хочешь — взгляни на себя.

Я завис над болотною гладью
и во тьме отразился, как мог,
и увидел свое пучеглазье
и суставы распластанных ног,

и шершавую спину дугою,
и ощеренной пасти оскал...
Я лишь в книгах читал про такое,
а теперь наяву увидал.

И кивнула усталая Парка
на уколотый пальчик в крови:
— Что-то душно сегодня и жарко,
если хочешь — еще поживи...

И пошла, прихватив паутинку,
потянула ее впопыхах,
и меня, как простую былинку,
превратила в бессмысленный прах.

* * *

Избавив себя от
моего старения,
получила взамен веселое оперение,
которое, очевидно, тебе идет.

Разбавив немецкий умяют
французским аксаном,
английскую речь уснастив эмигрантским сленгом,
на плывущем русском (меня умиляют
слова, что скрипят прошлогодним снегом)
легко подпевать осаннам —
следом, следом!

Куда же вам плыть на этом русском, в какие дали,
хором ли, вразнобой?
Когда-то вела свое соло — пой, птичка, пой!
Голос пропал.
Голоса пропали.

Избавив себя от
общего праха,

в кого же ты превратилась, вещая птаха?
В вещь. В перелет.

Голоса уже не имеют значения.
Все, что хотела, — слето.
Пора заняться собой.
В интернете всегда интерлето.
Пой, птичка, пой.

СТРАННИЦА

1

Галдеж старинных площадей,
собор, влекущий наши взгляды, —
а я припал к руке твоей,
еще не знающей пощады.

Я проклял тишь и пропил гладь,
сгораю в пламени мгновенном —
смешно себя оберегать
от крови, рвущейся по венам.

2

Глядеть на тебя и любить до озноба —
изнанка судьбы, а, вернее, основа:
что в прошлом копилось, ложилось на дно,
то с будущим стало теперь заодно.

Что там за окном? Облака ли? Века ли?
Сгорает коньяк в неглубоком бокале,
пока согревает минутный огонь
тень счастья, упавшую мне на ладонь.

3

Французский парк на краешке земли
мне подарил забытые объятия.
Моя неповторимая, замри,
чтоб мог тебя к себе опять прижать я!

Здесь каждый шаг просчитан, каждый взгляд,
здесь водоем дымится, как реторта,
и мы с тобой — пускай нас все простят! —
прекрасны, как создания Ленотра.

4

Снова полночь громоздится за окном,
и пляжу я в эту сумрачную тьму,
и прошу тебя всего лишь об одном:
не давай мне оставаться одному.

Это выдумки, что лирика должна
в одиночестве рождаться, это бред:
в волнах рук твоих рождается она,
в пене бедер появляется на свет.

5

Я подозреньями свожу себя с ума —
я, соглядатай слов, наушник беглых взглядов.
Вот наваждение! Не ты ли мне сама
наколдовала ночь? Ну, что за пламень адов!

Моя — в ночном хмелю. Но день куда трезвей.
Дверь скрипнет невзначай — и ты уже на воле.
И так невыносим туземный соловей —
поет, как будто клюв ему свело от боли.

6

Разлучник Амстердам и миротворец Брюгге —
зеленый свет луны над головой повис.
Какое счастье мне свалилось прямо в руки
с небес, мерцающих, как пыльный мир кулис!

Окно гостиницы глядит в слепую стену,
а я, слепец, гляжу на странницу мою.
Дай, Брейгель, руку мне — веди меня на сцену,
останови меня у смерти на краю!

* * *

Я выходил тоску мою ногами
и весь не умер, и остался цел.
И голос твой, пробившись в птичьем гаме,
на краешек сознания прилетел.

Бываю в разговорах я неловок
и мне порой важнее смысла звук,
но я тебя зерном своих обмолвок
и оговорок выкормлю из рук.

Я выходил мою расплату с прошлым —
оно окрепнет, встанет на крыло,
и полетит, и клювом осторожным
еще случайно стукнет нам в стекло.

Но ты, но мы, перебирая ворох —
тот самый, где важнее смысла звук, —
обмолвок и лукавых оговорок,
мы просто не услышим этот стук.

* * *

Каждый день обрывается с кровью
у неведомых бед на краю.
От себя, как ни прячусь, ни скрою,
что по мерке себя не скрою.

Если б смог я в былое прокрасться
и по-новому сделать себя,
я бы жил по законам пространства,
а не времени — но не судьба.

Все крупницы земли перетрогав,
я бы выбрал и место, и путь,
чтобы даже завзятый географ
не решился меня упрекнуть.

Улетает последняя стая,
и, по ней вымеряя маршрут,
я на северный ветер бросаю
золотые мгновенья минут.



БЕСТИАРИЙ, ИЛИ КОРТЕЖ МОРФЕЯ

Солнце с перерезанным горлом.

Гийом Аполлинер

Я сложил свои рукописи.
Я покинул дом.

С чемоданом легче идти бегом.

Я бежал по распахнутым улицам века
с лицом человека,
спешащего ниоткуда из никуда.

В белом канале стояли суда
летней флотилии —
их захватили и
обживали бездомные псы.

Баржи борт к борту покачивались, как весы.

Псы
пробегали по сходням, лежали на палубах, спали в каютах,

чутко прислушиваясь, как поют их
недруги, те, что ночами серы,
фосфоресцируя в запахе серы.

По ночам в подворотнях орудуют чайки,
и в кульках из вчерашних газет
шебаршат и ютятся печальные стайки
новостей, превращенных в крысят.

Это полночь пробила, и мост над Невой
поднялся — и отрезал от жизни былой.

Город встал предо мной лицевой стеной
полустен-полулиц.

Слышу в кроне кленовой изменчивый скрип половиц:
это ворон ученый не спит до рассвета и бродит то влево,
то вправо —
всё внизу для него суета и забава.

На помойках свистит голытьба: воробье, голубье.

Бьется сердце, как бьется тряпье
на балконной веревке —
и неловки

эти сбивы, рывки, чтоб вот так, задыхаясь, хватаясь руками
за грудь и хватая сухими губами белесую муть кислорода,
бежать под полуночный вспорх воробья.

Это я примеряюсь дышать без тебя.

Кем еще не воспеты
железная поступь, лихая осанка, геройская поза?
На казенном белье площадей прорастают хозметы
метемпсихоза.

Мрамор гривы, и бронза копыт, и чугун обнаженного горла
въелись в ткань, как чернильные цифры, чтоб их
бесконечная стирка не стерла.

Совы вжались в фасады.

Их огромные очи склевали закаты,
что ни вечер пустые глазницы слепя.

Это я примеряюсь глядеть без тебя.

Так куда же мне дальше, в какие края?

Ходит рыба кругами, как память моя.

Лебедь спит, по пригорку к воде соскользнув.

Словно боль, под крылом успокоился клюв.

Тихий селезень к утке прижался бочком.

Кенарь в клетке сидит с канарейкой молчком.

Дрозд умолк до утра,

и синица молчит.

Кто же в этой листве так беззвучно кричит,

от ночного молчанья на шаг отступя?

Это я примеряюсь любить без тебя.

Так куда же мне дальше — белой ночью так близок рассвет.

Зоопарк за тюремной стеною вздыхает во сне — и в ответ

НАВЗНИЧЬ И НИЧКОМ

* * *

Ночь была беззвучна и слепа,
а с утра — нежданная отрада:
палый пятипалый Петипа
закружил по сцене листопада.

Старый театрал и пилигрим,
я от этих танцев ошалею
и с охапкой пышных балерин
забреду в укромную аллею.

А когда погаснет в парке свет,
тихо сяду с краюшку, в партере,
досмотреть невиданный балет
на такой неслыханной премьере.

* * *

Я не хочу оглядываться — нет
тех мелочей, что создавали речь
из тьмы обмолвок, приносивших свет
внезапных узнаваний, жадных встреч.

Нет мелочей — особенно простых,
роившихся с изнанки ремесла:
копирка, окрыляющая стих,
на синих крыльях тайну унесла.

Замазка, лента — все уже не в счет,
все отыграли призрачную роль:
и серенький почтовый перевод,
и в десяти одежках бандероль,

и штемпель, осененный сургучом,
и никому не скажет ни о чем
тьнь Эвридики за моим плечом,
тьнь Эвридики за моим плечом...

* * *

Я начинаю жизнь иную,
прощаюсь с прошлым навсегда
и не ревную, а рифмую —
и в этом вся моя беда.

Но, плоть живую подарив нам,
твердит природа по слогам,
что нужно припадать не к рифмам,
а к икрам, бедрам и губам.

* * *

Я постараюсь быть свободным
между Фонтанкой и Обводным,
между Обводным и Фонтанкой,
где обернется жизнь изнанкой.

С изнанки нам куда виднее
все эти стежки Гименя,
все эти петельки Амура...
Все прочее — литература!

* * *

Свернулась улитка на зябком пне,
дороги мокры и топки.
Деревья потрескивают во сне
в предчувствии скорой топки.

Прощай, моя радость, до вешних дней,
до первых теней заката.
Здесь каждая зимняя ночь длинней
окружности циферблата.

* * *

Я странный мир увидел наяву —
здесь ничему звучащему не выжить,
здесь если я кого и позову,
то станет звук похожим на канву,
но отзвука по ней уже не вышить.

Здесь если что порой и шелестит,
то струйка дыма вдоль по черепице,
здесь даже птица шепотом свистит,
а ветер листья палые шерстит
беззвучно, будто им всё это снится.

Здесь камнем в основании стены
который век не шелохнется время.
Здесь между нами столько тишины,
что до сих пор друг другу не слышны
слова, давно услышанные всеми.

* * *

Голос ломкий, как тонко заточенный грифель,
чертит плавную речь, избегая нажима,
на откосе ли вдруг замерев, на обрыве ль,
зацепившись за слово, застыв недвижимо.

Вниз осыплются призвуки, выпадут слоги,
и окажется почва чужой, бесполезной,
и застынет вопрос, ожидая подмоги,
над внезапно открывшейся райскою бездной.

* * *

Майский запах свежей корюшки
с ветром в паре, с илом в примеси.
По газонам вбиты колышки
с чахлой зеленью на привязи.

Я и сам не старше саженца
под крутым крылом вороньим
и готов прижиться, кажется,
навсегда к твоим ладоням.

* * *

Я влюбился без памяти в очерк,
в бледный контур твоих новостей.
Этот беглый, как каторжник, почерк —
вечный узник тревог и страстей.

Он таится на каждой странице,
он вовсе замечает следы.
Так и хочется с ним поделиться
честным хлебом любви и беды.

* * *

Эти пальцы, бегущие по моему лицу,
как по книге для слабовидящих: я порос
азбукой Брайля. В этом пустом лесу
по пенькам узнается будущее. Мороз

продирает по коже, и впрямь спирает в зобу
от известных эмоций: нужное — назови.
Эти пальцы читают будущую судьбу,
ищут образ, тебе уготованный для любви.

Я не гоюсь в модели: я слишком сам.
И по тому, что нащупаешь там, внутри,
вылепить что-нибудь равное небесам
вряд ли можно вслепую. Но ты смотри.

* * *

Как кинолента, порвана судьба —
какие-то ошметки на экране,
а слышимость невнятна и слаба,
скрежещут, заикаются слова
и обнажают плоскости и грани.

Всё можно склеить — снова прокрутить
и вид пригожий, и пейзаж прекрасный,
и дальше потянуть живую нить,
и только слов уже не вернуть,
тех самых слов, где клей прошёл по гласной.

* * *

Шумный борей не сошелся с певучим эолом.
Как ни спеши и о чем впопыхах ни пиши,
грустное счастье мое разминулось с веселым —
так и живут в параллельных пространствах души.

Детство стареет, а старость без детства тоскует,
утро склоняется к ночи, а лето — к зиме.
Поздняя осень. Грачи. Опоздавший тостует,
перебирая привычные фразы в уме.

* * *

Пока Монтекки с Капулетти
творяют неправо́ые дела,
на бреющем щеку полете
влетела в комнату пчела.

Что ей до этих стародавних
страстей, царящих на земле?
Увы, не сыщешь и следа в них
нектара, нужного пчеле.

Отгоревала, отбранила
пустые эти образцы
и на страницу обронила
не ставший медом
прах пыльцы.

* * *

Как по́ сердцу прошло! И сам не думал,
что может выйти полный окорот.
Переживем беду, мол, — всё в меду, мол,
но ни беду не пережить, ни мед.

Что до беды — там свой оскал акулий,
а что до пчел — там тоже торжество:
как мародеры, грабящие улей,
сошлись над прахом сердца моего.

* * *

Асе

Годы вышли из дома и тихо прикрыли дверь.
Спи, мой старенький, спи, как нелеп этот счет потерям!
У порога сидит никому не известный зверь —
значит, страхи свои на надежды свои поделим.

Посреди голубинога сада цветет полынь.
Право слово, смешно в золотой первоцвет рядиться.
Спи, мой старенький, спи, и юдоль этих слез покинь —
дай-то бог, чтоб еще хоть разок удалось родиться.

* * *

Листья падают ничком и навзничь,
рвется паутина зыбких слов.
Нас уже ничто не держит. Нас нич-
то уже не держит. Лопнул шов.

Дворник, дворник, жаль твоих мучений:
что за морок
 с горем пополам
набивать мешок листвой осенней
так, что он уже трещит по швам.

Кажущие все свои огрехи,
тот поеден ветром, тот — жучком,
листья прорываются в прорехи
и ложатся навзничь и ничком.



ОТЧАСТИ

* * *

Как судьба, свершившаяся втайне,
как слова, зарытые в слова,
как Шопен, очнувшийся в регтайме,
оживает старая листва.

Все вокруг еще темно и голо
в окруженьи сосен и осин,
но уже восторги птиц до голо-
вокруженья рвутся из низин.

Погоди, не стой под этим ветром —
так тебя, глядишь, и унесет
в те края, где туча ходит фертом,
осыпаясь брызгами с высот.

Есть просветы в этих днях ненастных —
потеплее курточку надень:
счастье — то, что кроется в нюансах,
в переходе гласных в полутень.

* * *

Девочка, не знающая жалости
к телу, созидателю наград,
не кружись без удержу, пожалуйста,
не садись так бойко на канат.

Эти ножки, жаждущие зрелости, —
ты им не противься, не перечь.
Станешь ли, при всей своей умелости,
узеньких держательницей плеч?

Нет, не выйдет! Слишком ноша тяжкая
для таких напористых, как ты.
Вот и бьешься безымянной пташкой
о тупые прутья пустоты.

* * *

Между временем и временем застрянув,
я внезапно ощущаю всей судьбой
сладкий запах облетающих платанов,
словно зябкую облатку под губой.

Ствол звенит, как будто сделан из металла,
и восходит ломкий шорох от земли:
то ли осень эти листья разметала,
то ли птицы их на крыльях разнесли.

И останутся у ветра на примете,
словно символы привычной новизны,
изваяния лесного Джакометти —
корневища, утолщения, узлы.

Все живое, все действительно живое,
облетаю, улетаю и живу,
как ребенок, зарываюсь головою,
зарываюсь в невозвратную листву.

* * *

Про древний Родос все наврали карты,
но камень солон, а песок горяч,
и так ветрит, что если не Икар ты —
то крылья отстегни и тут же спрячь.

Куда лететь, куда нам плыть? Не знаю.
Все это происходит не со мной.
Но жизнь прочна, как ниточка сквозная
между воздушным змеем и землей.

* * *

Что было предназначено,
назначено не мне.
Жизнь, начатая начерно,
кончается вчерне.

Рассыпались тетради, чьи
страницы — размело,
и только ты, не глядячи,
случилась набело.

Разобранные волосы,
в глазах темным-темно,
и снегом, словно с полюса,
лицо замечено,

расстегнутые пуговицы,
приспущенный чулок...
Нет, ни единой буковки
я б изменить не мог!

* * *

Время отлежится, точно силос,
всё удобрит горечью своей.
Вдруг ты позвонишь мне, как грозилась,
и возникнешь около дверей?

Брошусь ли навстречу, расцелую,
сердцем чую прожитый провал,
или разгляжу в тебе другую,
ту, что до сих пор еще не знал?

И в преддверьи будущей удачи —
или неудачи, кто решит? —
я сейчас сижу один и плачу,
как ребенок, горько и навзрыд.

* * *

Ну кто еще решится на такое?
Пожалуй, только мы с тобой рискнем:
тебе чуть-чуть любви, а мне — покоя,
а воля остается за окном.

Я выгляну, а там, внизу, отчасти
распутица, отчасти — гололед.
А впрочем, разговор идет о счастье.
— О чем, о чем?
— О том, что снег идет.

* * *

Порой, дыханье затаив,
и без надежды спеться,
слежу, какой такой мотив
твое выводит сердце.

Тот обертон, и тот, и тот
возникнут, зааукав, —
быть может, мне перепадет
один из этих звуков.

Я подхвачу его в тиши,
потом к себе примерю,
но ты пока что не спеши
оплакивать потерю.

Во сне тесней ко мне прижмись —
ну разве не докука
вести всего в полтакта жизнь,
петь в половину звука?

Он никуда не унесен,
он вроде пуповины,
чтобы забились в унисон
две эти половины.

* * *

Плоть отчасти, отчасти — душа,
что из нашего прошлого выйдет?
Оттого-то и жизнь хороша,
что границ между ними не видит.

Я невольно часы тороплю
и дневные мешаю с ночными.
Оттого-то тебя и люблю,
что не вижу границ между ними.

* * *

Сначала немного вина,
потом разговоры о главном —
и эта шальная волна
весь ужас приносит стремглав нам.

Ты плачешь, ты губы кривишь,
горишь, как горит целлулоид.
Каких небывалых кровищ
душе эта музыка стоит?

И всё: не дышать и не жить,
и лишь в неизбежности лютой
губами лицо осушить,
как древнюю чашу с цикутой.

И больше не слушать, не сметь,
но слиться друг с другом, как пазлы,
покуда любовь, словно смерть,
готовит последние спазмы.

ЗАКЛИНАНИЕ

Усни на моем плече посреди зимы,
которую так давно торопили мы,
чтоб снег невидимкой сделал укромный дом, —
усни поскорей, я счастлив твоим теплом.

Усни на моем плече посреди страны,
в которой мы все заложники той шпаны,
что напрочь забыла про детскую боль и грусть, —
усни поскорей, я так за тебя боюсь.

Усни на моем плече посреди беды,
в которой мы так бесславны и так тверды,
что только вдвоем сумеем ее прожить, —
усни поскорей, нам утром опять тужить.

Усни на моем плече посреди любви,
которой так мало надо: одной любви,
любви при одной звезде, при одной свече, —
усни поскорей, усни на моем плече.

* * *

О чем кричите вы, старинные чернила?
Разлука — сблизила, а близость — разлучила.
Тоскою выцветшей заполнена тетрадь.
Разлука — сблизила. Но слов не разобрать.

А вот машинопись, уже давно слепая,
здесь жмутся буквы, друг на друга наступая,
и так издерган шрифт, и так его знобит...
Разлука — сблизила. Но дальше текст забит.

А ты, мой верный друг, заложник легких клавиш,
какому будущему тень от нас оставишь?
Разлука — сблизила. Так в чем же тут беда?
А близость — разлучи...
Все стерто навсегда.



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

* * *

Мы живем в обратной перспективе —
всё, что к детству, ярче и острей.
В этой жизни многое красивей,
чем узнали мы из букварей.

Эка хитрость — лечь и не проснуться!
Нет, проснуться — и увидеть, как
с теплой сыроежки, словно с блюда,
птица пьет, смакуя, натошак!

* * *

Дудочка, дудочка, дочка трубы,
спой двоекратным ду-ду,
как мы брели по извивам тропы,
громко смеясь на ходу.

Маленький мальчик дудел и дудел,
но до гуляк молодых
даже у Господа не было дел,
не было дел никаких.

Шел по земле нарастающий гул,
слышимый лишь в небесах,
это за лесом Чернобыль рванул,
ветром и ливнем пропах.

Мы прорывались, нахальные, сквозь
заросли в птичьем пуху.
Сладко нам елось и пьяно пилось,
и голубело вверху.

Маленький мальчик дудел и дудел,
но до рулад золотых
все-таки не было Господу дел,
не было дел никаких.

ОТРОЧЕСТВО. ОСЕНЬ

Ненавижу прошлое за то, что
было всё не так, не там, не то,
ненавижу прошлое за тошно-
творное, топорное пальто,

за носки, стоящие под стулом,
за тупую нищенскую снедь,
за проклятье вечно быть сутулым,
лишь бы на соседей не смотреть,

за вранье, за стыд, за обжималки
по углам, за гонор взрослых «ты»,
за подлянку мелкую, за жалкий
детский бред, грошовые мечты —

эти байки, сказочки, конь о конь,
жажда бегства, пот и страх погонь...
Отрочество! Что это за погань!
Да пожрет его святой огонь!

Чтоб о нем не ведая, не зная,
в детство наигравшиеся всласть,
прямо из младенческого рая
мы могли бы в молодость попасть, —

а тогда одуматься, проснуться
и себя догадкой ослепить,
что без этой боли и паскудства
настоящей жизни не слепить.

ОТРОЧЕСТВО. ЗИМА

Я не увижу знаменитого фетра
папиной шляпы: по воле ветра
она улетела в Крюков канал.
Папа честил непогоду с яростью,
а я с моста своего, как с яруса,
взглядом полет ее догонял.

Шляпа была дорогой и новой,
а лед топорщился двухметровый,
но каждый шаг грозил полыньей.
Крутилась поземка, чернели тени,
и шляпа лежала на этой сцене,
пока вдоль канала мы шли домой.

Я не увижу многого. Папа
вернулся с войны, а потом с этапа
и все свои записи сжег тотчас.
Вот шляпа — это другое дело.
Он надевал ее так умело,
чтоб никто не увидел папиных глаз.

ОТРОЧЕСТВО. НОВЫЙ ГОД

Застрявшая в прошлом картина
с намеком на поздний рассказ:
безногая девочка Зина
жила в переулке у нас.

Ходила с клюкой и обидой,
смертельной обидой калек.
С хорошею девочкой Лидой
она не встречалась вовек.

Хороших у нас не бывало —
ну разве что в книжке засек;
продажная девочка Алла,
да спившийся мальчик Васек.

Кто вырос, кто сразу на вынос.
Как прожитый век ни шерсти,
сегодня поди, созови нас —
очнется один из шести.

Не то чтобы тихо и кротко,
но жизнь не пуская вразнос,
я страшное слово «слободка»
в себе, словно пулю, пронес.

А всё еще вижу невинный,
тот давний туман и дурман:
с безногою девочкой Зиной
сквозь линзу глядим на экран,

и детского ищем резону,
о чем-то беззвучно моля
звезду, осветившую зону
над Спасскою вышкой Кремля.

ОТРОЧЕСТВО. ВЕСНА

Как пробка из ушей, смыт лед из водостоков
и рухнул на асфальт, копытцами зацокав.
Табун морских коньков рассыпался взახлеб —
те перешли на рысь, те кинулись в галоп.

Как прошлогодний снег, кот на карнизе дрыхнет,
а солнце в облаках то скроется, то вспыхнет,
и вечный знак весны повис над головой,
еще не тронутый веревкой бельевой.

Кто первым вешаться? Ты, майка? Ты, футболка?
На чухлом дворике уже идет прополка:
старухи рвут из рук в святом своем кругу
бутылки, за зиму забытые в снегу.

На первом этаже всюю открыты окна
и местный старожил отвисшим брюхом лег на
грязь подоконника и свесился во двор,
разглядывая всё, что движется, в упор.

Я коммунальную тоску не заострю ли,
воскликнув, что гремят по-летнему кастрюли?
До лета выпадет еще немало бед,
но что до них, когда вот-вот грядет обед!

Уже соседский хмырь бежит за поллитровкой,
уже в их комнате запахло потасовкой,
уже синюшная красавица, визжа,
спешит укрыться от привычного ножа...

Прекрасная пора! Мячей чередованье
с утра до вечера мелькает за окном.
И все, что прожито, стоит в душе колом
и просится в слова, и требует названья.

БЕЛЫЕ НОЧИ. ТАНГО

Больные мальчики, кто с печенью, кто с астмой,
еще не чувствуя судьбы своей несчастной,
сходились в сумерках, шушукались впотьмах,
как век-другой назад, о славе и стихах.

За окнами страна, привыкшая к насилию,
шла врукопашную с войсками туч и птиц,
и глухо оседал чахоточною пылью
в пазах Ленмебели вечерний шум страниц.

Соседи в потолок вели прямой наводкой
огонь шампанского, сорвав с него засов;
шипело радио шершавой сковородкой
на адском пламени партийных голосов.

По бледным улицам всеильные плакаты
свой устанавливали колер и размах,
покуда немощные призраки блокады
еще скрипели половицами в домах.

Стук метронома, перестук души и плоти,
и шаркал дворник, и свистели поезда,
и время билось, как пластинка на излете:
«Идеи Ле... идеи Ле... и побежда...»

Больные мальчики глядели в серый омут
окна, прилипшего к бескрайнему двору,
а зацепившийся за флаги серп-и-молот
плел золотую паутину на ветру.

ВОСПОМИНАНИЕ О ШКОЛЕ. НЕКРАСОВ

Однажды я вышел на площадь.
И что же? был сильный мороз.
Гляжу, появляется лошадь,
везущая хворосту воз.
Такое ну разве приснится:
вся площадь — как белый каток,
лошадка была в рукавицах,
но, впрочем, сама с ноготок.
И, словно средь шумного бала,
хвостом зацепивши вожжу,
«Отец! — мне лошадка сказала. —
Бог рубит, а я отвожу...»
Гляжу, коченея от стужи,
как льдинку, ломая слезу:
не хворост, а детские души
вповалку лежат на возу.
Печальные жертвы поэта —
ни стоны из детской груди...
А снег всё скрипел до рассвета,
и музе сказал я: «Уйди!..»

* * *

В Новосибирске ставят Мариво —
страна местами даже ничего,
и в этой ничего себе стране
отыщется местечко и по мне.

В конце концов, культура — только пшик,
и жив еще камаринский мужик,
он вытопчет и тот надел, и тот,
глядишь — а сбоку снова прорастет.

Вот и растет: кривое, как-нибудь.
И вдруг сожмет, и вдруг заночует грудь,
когда сверкнет из ватной пустоты
осколок непонятной красоты.

* * *

«Я слепну и глохну», — сказал мне поэт,
смешных по сравнению с вечностью лет.
Я выглядел рядом мальчишкой —
но другу ответил одышкой.

На улице было светло и грешно,
и музы порхали неслышно,
и прошлое в нас незаметно вошло,
и тут же грядущее вышло, —
как будто двоих не приветит Господь
под ветхою крышей по имени плоть.

Мы пили, как то повелось на веку,
а выпивши, в кои-то веки
мы кинули нищему по медяку
под песню о вечном калеке,
и вновь пиروвали в кругу доходяг,
втроем пропивая последний медяк.

Крутилась монетка, нам судьбы кроя,
пока мы сидели сутулясь.

И время вернулось на круги своя,
а может быть, круги вернулись,
когда мы сбирались в неведомый путь
в заветную щелку на волю взглянуть.

Мы вновь оказались в былом забытии
надежной, проверенной пробы:
здесь левой рукою сошьют нам статьи,
а правой — тюремные рубы.
В застенке, где разве что нюх не отбит,
лишь пес выживает — и тот инвалид.

Всё громче звенит молодая броня
в предчувствии скорого гона.
И некто, похожий на череп коня,
сверкнув чешуею погона,
нас свяжет узлом, как последнюю кладь.
Не видим. Не слышим. И нечем дышать.

БАЛЛАДА (1)

Когда подступает хандра не хандра,
но нечто, зовущее прочь,
и кто-то бормочет: пора, мол, пора,
глядишь — а за окнами ночь,
мне снятся вослед ежедневным делам
курганы несложных слов,
и я прохожу по разъятым телам,
по хрусту пустых черепов.

Иду в полумраке, бреду в полусне,
ступая на грязь и на слизь,
туда, где на бравую тризну по мне
горбатые карлы сошлись
и встали по кругу в привычном кругу,
клыкастые морды задрав...
Печально не то, что помрешь — и ку-ку,
а то, что помрешь — и гав-гав!

Как ныне иду меж гниющих калек,
ступая на слизь и на грязь,
и жизнь, что когда-то давалась навек,

как видно, на век не далась,
и некто ползет из-под правой руки,
стараясь бумагу примять,
и я принимаю от каждой строки,
что только и должно принять.

БАЛЛАДА (2)

Местные — Тупость и Подлость — рука в руке
сидят на завалинке. Сзади них на крюке
качается Разум в разверстом чреве сарая.
Туша разделана. Вечером пир в кабаке.
Солнце садится за стол, от жажды сгорая.

Скотство, рыгая, хлебает хмельную дрянь.
Возле дверей копошится и воет Рвань.
Бахвальство бродит в обнимку с Ленцой сопящей.
К горлу окна подступает такая рань,
что разглядеть ее может разве что спящий.

Спящий меж тем повернулся на правый бок.
Он от усердья во сне покраснел и взмок.
Что ему снится, знают одни глазницы.
Бродит во тьме кособокий и вшивый Рок —
в слепое окно глухим кулаком стучится.

Спящий глаза протирает. Идут века.
Из кабака долетает ругань, пока
всё еще спящий ревет белугой при виде
рыла в окне, поскольку жизнь глубока
и коротка, подобно детской обиде.

* * *

Что есть страна, в которой я живу?
Я век отвековал, а всё не верится,
что облачко витает наяву,
и тает, и сгущается, и перится.

Оно себе парит над полем ржи,
над этим островком, где жизнь рождается,
в недвижимом море подлости и лжи,
в котором ничего не отражается.

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ В ТОЙЛЕ

На могилах алфавита
дремлют буквы и растенья.
Спят кресты, надгробья, плиты,
спят неведомые тени.

Им теперь куда спокойней
под травой, уже несмятой,
тем, кого блазнили бойней
бесноватый и усатый.

Спят обугленные трубки,
дремлет прах — письмо ли, карта,
а под ними спят обрубки
давних войн Петра и Карла,

а под ними — просто бездна,
вся засыпана костями,
а под ними всё безвестно,
прах да прах — черпай горстями.

Нет земли — одна могила,
все мы здесь родня и гости...

А кому-то хватит силы
стать травинкой на погосте.

* * *

Причуды иноземного стиха:
как пробираться тропами лесными,
где ива, и береза, и ольха —
мужского рода? Что мне делать с ними?

Я мог бы это всё перевести
совсем в иную плоскость, но природа
подсказывает мне, что нет пути
печальней, чем искусство перевода.

И вправду, как березу мне обнять
и как же иву мне назвать плакучей,
когда у них особенная стать,
в чужом — иная, как себя ни мучай?

Так оставайся лесом, старый лес,
грешно переводить тебя на рощу,
и всей листвою, покуда не исчез,
дыши на слух и облетай на ощупь!

* * *

Репетиция старости ходит по дому.
Поседела. Вздыхает. И лает подолгу
на приснившихся недругов. Тихо скулит
на полу, не рискуя запрыгнуть на кресло.
Острых запахов нет, а с привычными — пресно.
Разве новое что-то томит и свербит
под хвостом, где немытая шерстка сваялась,
но не выкусишь — целых зубов не осталось.
Все знакомо. Выходишь на двор без опаски.
И балдеешь от первой попавшейся ласки.

* * *

Мой бедный пес — на небесах:
пошел искать удачи
туда, где взвесят на весах
его грехи собачьи.

Он в детстве так же убежал —
ушел себе из дома.
Теперь он мертв, а был он мал.
Теперь-то всё знакомо.

И он идет себе, идет,
куда судьба поманит,
никто его не украдет,
приваживать не станет.

И нет машин на том пути,
безлюдном почему-то,
а потому легко идти
без цели и маршрута.

Что до иных его грехов,
то кто же не обляян?
Придумал дюжину стихов,
и те сложил хозяин.

Прими его, собачий рай,
со всей его наукой, —
да будет этот честный лай
небесною порукой.

* * *

В тех дружеских домах, в тех родственных, куда ты
заглядывать привык,
все роли сыграны, все шутки бородаты, —
всё кончено, старик!

И в той большой любви, давно ушедшей в нежность
среди картин и книг,
ты видишь лишь одну слепую неизбежность —
всё кончено, старик!

И в бане, где братва гогочет в рыжей пене,
под этот рев и рык
с печалью ты глядишь на наше по колени —
всё кончено, старик!

И дома, с рюмочкой, под шамканье газеты,
вообразишь на миг
себя творцом судеб, хозяином планеты...
Всё кончено, старик!

А там, на улице, — там всё переиначит
один случайный крик:
«Дед, сколько времени?..» И это вот что значит:
всё начато, старик!

Он начат, этот путь, он весь еще в начале
за книгой, за вином,
в предсердье колющем, в пугающей печали
перед последним сном.

ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОГО

1

Слезится глаз. Под вечер ноет челюсть.
С волынкою дождя сосуды спелись.
И позвонок, распятый на крестце,
едва встаю, хрустит как буква Ц.

За ним нога спешит приволочиться,
и в сердце въелась печень, как волчица.
Немеют пальцы. Содраны стопы.
И всё невнятной, глуше гул толпы.

Прощай, прощай, здоровое, младое!
Казалось, ты навек дано такое,
как в юности, когда любую боль
снимали поцелуй и алкоголь.

О зеркало, твоим виденьям хилым
отобразить былое не по силам:
я и гроша за правду их не дам.
Гони их прочь!.. Ну вот и по рукам!

Кожа морщится, будто сводит ее изжогой.
Посмотри, как набухли вены — хочешь, потрогай!
Вот тут, на боку, появилась какая-то блямба.
А ты говоришь о преимуществах ямба.

Скривился палец. Как фасоль, прорастает ноготь.
Все-таки, вены тебя будоражат? Можешь потрогать.
В легких мокрота. Пульс непомерно тихий.
Складки на брюхе. А ты говоришь — пиррихий.

Вот еще любимое слово: оксюморон.
До чего же приятно быть человеком с юмором!
И идти, как пришелец, в здоровой, чужой толпе
с анапестом в ухе и геморроем на пятой стопе.

МУЗЕЙ ПОЭТА

Я прожил неделю в музее поэта,
и я никогда не забуду про это.
Я спал на кровати, в которой поэт
проспал в общей сложности несколько лет.

Писал, за столом его письменным сидя,
оставшемся в прежнем, прижизненном виде,
на стульях поэта сидел и не раз,
пardon, приседал на его унитаз.

В музее меня окружали с рассвета
портреты поэта, портреты поэта,
и этим они намекали на то,
что образ его не забудет никто.

Я в книгах поэта усердно копался,
там след его ногтя бессмертно остался —
он часто подчеркивал строки в стихах
и рядом писал иронически: «Ах!..»

А может быть «Ах!..» восклицал он серьезно?
Я вновь перечитывал — полночь, поздно,
и утром вставал в несусветную рань —
нет, все-таки «Ах!..» это значило «Дрянь!»

В музей приходили какие-то тети.
Одна мне сказала: «Когда вы умрете,
вам тоже, наверно, откроют музей,
и станут водить к вам ученых детей».

Она от меня ожидала ответа,
но вышел я в сад при музее поэта,
и в этом саду, необычно пустом,
я сел на траву под высоким кустом.

Гудели шмели в полумраке зеленом,
и яшень листвою соперничал с кленом,
приезжий народец толпился в дверях, —
и я с наслаждением выдохнул: «Ах!..»



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая: 1968–1990

ЯЩИК СТЕКОЛЬЩИКА	4
Точильщик	4
Ящик стекольщика	6
Первые друзья	8
1951	11
Новый год	12
После	14
Отплытие	16
Считалка	18
Я в хоре пел	19
Проходные дворы	20
Воскресенье	22
«Талантливые мальчики конца пятидесятих...»	23
«У швейной машинки — ни дня передышки...»	24
«Мы выросли на лагерном жаргоне...»	26
Первая любовь	28
Мама	30
Корни	32
«Как важно родиться в том городе, где...»	34
СМЕРТЬ ПОЭТА	35
НЕМОЕ КИНО	39
Поздний перелет	39

Учитель	43
«О дружеские встречи, беседы и вино...»	47
«Как начинался русский футуризм?..»	49
«Ты возвратилась в этот пасмурный...»	51
Транспортная хроника	53
«В подвале принимают...»	55
«Уже скребут лопаты по снегу...»	57
Кот и хозяйка	59
Москварики и невырики	62
Московское посвящение	64
«Последние утра осенние скрадены...»	66
Шелест и хруст на канале...	68
Стол находок	70
Немое кино	72
ГРУЗЧИК	74
ГАННИБАЛОВЫ ЗЕМЛИ	79
Ганнибаловы земли	79
Пушкин. Два монолога	82
Святые горы	85
ПРОЩАНИЕ С КОЛОМНОЙ	93
ДОМ ДЕЛЬВИГА	99
ДЮНЫ	105
В ритме прибоя	105
У моря	108

Дюны	110
Игра	112
«Такая благодать! Вокруг опять...»	114
Пиршество	115
Грибная ода	117
«В минуту жизни трудную...»	119
Из морских элегий	121
1. «Одна надежда на ветер. Тучи, сплошные тучи...» ..	121
2. «Золотое руно день за днем облетающих кленов...» ..	122
3. «Если бы море ушло — перед какою бездной...» ..	123
Сегодня	124
Осенний триптих	126
1. «Лес прозрачен, как намек на осень...»	126
2. «Все связано необоримо...»	127
3. «Листва облетает...»	127
Лист	129
«Ржавая сыпь на замшелом листе...»	130
«И совсем не для них мастерили кормушку...»	131
Заморозки	132
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ	134
«Все тесней и все интимней...»	134
«Молодая поросль...»	135
«Раньшебылипомыслы...»	137
Неправильные глаголы	139
Памяти Татьяны Григорьевны Гнедич	141
Читая Шаламова	142
В начале мая	143
Воспоминание о Глебе Семенове	144

Лист календаря	146
О влиянии атмосферы	148
«Силлабо-тонический сад...»	150
«Люблю переводить поэтов-северян...»	152
Единожды навсегда	154
«На улице — тихо и жарко...»	156
ОТРЫВОК ИЗ БИОГРАФИИ	158
«Он все еще звучит из глубины столетий...»	158
Баллада о старинной музыке	159
Фарс о лохани	161
Рядовое дело д'Артаньяна	164
Баллада о Максе Жакобе	168
Отрывок из биографии	174

Часть вторая: 1990–2012

АЛФАВИТ РАЗЛУКИ	178
«Двадцать лет сплошные проводы...»	178
«Не хватает ерунды, дурости, трепа...»	180
«Раньше жили постадно, теперь — постыдно...»	181
«Изгнание — патент на благородство...»	182
«Любовь к родному пепелищу... и гробам...»	183
«Господин Фаршеедов...»	184
«Я пошел на выставку Шагала...»	186
«И вот они выплывают из прошлого...»	188
«А вот еще один, задыхающийся: “ка... ка... ка...”»	190
«Голос записанный на кассету...»	192
Осколки элегии	193

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИМИТИВЫ	196
«Среди руин жужжит незванный шмель...»	196
«С черепичной крыши голубица...»	197
«Клочок земли приевшейся покинув...»	198
«Невеселые лица у русских в Париже...»	200
«Под мостом Мирабо — я не видел, быть может...»	201
«Как ни странно, издали боли — резче...»	202
«Я видел Францию в снегу...»	203
«В окно автомобиля выгляни...»	204
«Сработанный еще рабами Рима...»	206
Провансальская элегия	208
«Ко мне прибегает пастушеский пес...»	211
«Римское кладбище. Разве приснится...»	213
«Я не любитель руин, камни меня не волнуют...»	215
«Купальщицы Дега и девы Ренуара...»	216
Французские примитивы	218
1. «Мир переполнен запахами снов...»	218
2. «Клюют нахохленные птицы...»	219
3. «Давай прогуляемся в парке Руссо...»	219
Меланхолия	221
Начало века	222
«Ледок промерзает до хруста...»	224
«"Ум всегда в дураках у сердца", — оставил...»	225
«...Небось, Верлен в приемных не потел...»	226
«Рембо в двенадцать лет. Рисунок Берришона...»	227
Рождественские концерты	228
1. «Лило в Рождество Христово...»	228
2. «Орган, словно дудка сторотого Пана...»	229
«...Дорога падает развилка за развилкой...»	230

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД	238
«Все посланья мной уже получены...»	238
«Я сажусь в электричку и еду в ближайший пригород...» ..	240
Уличные верлибры	241
«К тридцати мы забываем науку...»	243
Подземный переход	245
«Чем больше клеветы, тем больше в ней...»	247
«Среди раздвая и разора...»	249
«Зимний день в окрестностях Гааги...»	250
Зимняя песенка	251
«Хорошо умирать, как листва...»	252
«Сгорает последняя горстка...»	253
«Что осталось от наших игр?...»	255
«Какая великая пустошь!..»	257
«Два месяца висел над нами зной...»	259
«Дог с купированными ушами...»	261
«Жил-был еврей рассеянный...»	263
«Дитя уснуло на груди...»	265
ПРОЗА ПАМЯТИ	267
«Жизнь в поисках утраченного смысла...»	267
«Времена не слишком им потрафили...»	268
Из дневника переводчика	269
Проза памяти	271
Искусство перевода	273
Кто у нас делает литературу	274
«Это место, где меня не любят...»	275

«Черемухой пахнет цветущий миндаль...»	277
«То, что раньше считалось конспектом...»	278
Памяти Олега Григорьева	279
Служебные слова	280
«Я не видел Берестова грустным...»	282
«Эта стирка, эта глажка...»	283
Памяти фестиваля поэзии	285
«Только в юности легко писалось...»	287
ДВЕНАДЦАТЬ	288
ПРАЗДНИК УТРАТ	295
«Память переполнилась...»	295
«Уже клонирована Долли...»	296
«Начинаю новое столетье...»	297
«Уйдя из-под ножа...»	298
«Нет, классик был не прав. И, как ни посмотреть...»	299
«— Прощай, свободная стихия!..»	300
«Праздник — это выйти и шататься...»	301
«Покуда свято место не пустует...»	302
«В этом мире не хватает новизны...»	303
«В зеленом тумане растаяв...»	304
«Умер бомж. Как сидел на пеньке в саду...»	305
«Что на газетке? Чох да жмых...»	306
«Из мира, пахнущего тенью...»	307
«Под говорок еврейского квартала...»	308
«Те, кто нынче празднуют победу...»	309
«Мы уже не молодые...»	310
«О, как мне доставалось!..»	311

«Припомню — и снова с собой унесу...»	312
«Поэзия ушла, как тайный стыд подростка...»	313
«Я столько перевел стихов...»	314
«Считаю поутру жучков и паучков...»	315
«Снова пахнет разором и кровью...»	316
«Вот лезвие ножа, как сгусток водной глади...»	317
«То ли ранняя тьма, то ли снова зима...»	318
«Одни — витии...»	319
«Бегония в бега пустилась...»	320
«Оттого, что не держал застолий...»	321
«Вовсю свистят — а все в снегу, все голо...»	322
«В пространстве, очерченном снами и зданиями...»	323
«Среди боевой воркотни...»	324
«Как пахнут старые дворцы?...»	325
«Мне стыдно просыпаться каждый день...»	326
«Жизнь предполагает одиночество...»	327
«Ну и досталась родня...»	328
«Мне поздно просыпаться знаменитым...»	329
«Уставил на небо очкастые глазки...»	330

ПРОТИВ ВСЕХ	331
«Тот вымышленный мир, в котором часть меня...»	331
«И то, что нам пророчили...»	332
«Ты становишься женщиной с темным прошлым...» .	333
«Вспоминаю о давней минуте...»	334
«Зайду в подвальчик и выпью сто...»	335
«Этот юноша с седыми волосами...»	336
«Остановиться. Обмануться...»	337
«Поцелуй, что милостыню, бросив...»	338

Песенка о Генте	339
Три бельгийских наброска	341
Нивель	341
Монс	342
Сенеф	343
«Английский парк на то и приспособлен...»	344
«За решеткою старого парка...»	346
«Избавив себя от...»	348
Страница	350
1. «Галдеж старинных площадей...»	350
2. «Глядеть на тебя и любить до озноба...»	350
3. «Французский парк на краешке земли...»	351
4. «Снова полночь громоздится за окном...»	351
5. «Я подозреваю, свожу себя с ума...»	351
6. «Разлучник Амстердам и миротворец Брюгге...»	352
«Я выходил тоску мою ногами...»	353
«Каждый день обрывается с кровью...»	354
БЕСТИАРИЙ, ИЛИ КОРТЕЖ МОРФЕЯ	355
НАВЗНИЧЬ И НИЧКОМ	359
«Ночь была беззвучна и слепа...»	359
«Я не хочу оглядываться — нет...»	360
«Я начинаю жизнь иную...»	361
«Я постараюсь быть свободным...»	362
«Свернулась улитка на зябком пне...»	363
«Я странный мир увидел наяву...»	364
«Голос ломкий, как тонко заточенный грифель...»	365
«Майский запах свежей корюшки...»	366

«Я влюбился без памяти в очерк...»	367
«Эти пальцы, бегущие по моему лицу...»	368
«Как кинолента, порвана судьба...»	369
«Шумный борей не сошелся с певучим эолом...»	370
«Пока Монтекки с Капулетти...»	371
«Как по сердцу прошло! И сам не думал...»	372
«Годы вышли из дома и тихо прикрыли дверь...»	373
«Листья падают ничком и навзничь...»	374
ОТЧАСТИ	375
«Как судьба, свершившаяся втайне...»	375
«Девочка, не знающая жалости...»	376
«Между временем и временем застрянув...»	377
«Про древний Родос все наврали карты...»	378
«Что было предназначено...»	379
«Время отлежится, точно силос...»	380
«Ну кто еще решится на такое?...»	381
«Порой, дыханье затаив...»	382
«Плоть отчасти, отчасти — душа...»	384
«Сначала немного вина...»	385
Заклинание	386
«О чем кричите вы, старинные чернила?...»	387
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	388
«Мы живем в обратной перспективе...»	388
«Дудочка, дудочка, дочка трубы...»	389
Отрочество. Осень	391
Отрочество. Зима	393
Отрочество. Новый год.	394

Отрочество. Весна	396
Белые ночи. Танго	398
Воспоминание о школе. Некрасов	400
«В Новосибирске ставят Мариво...»	401
«“Я слепну и гложу”, — сказал мне поэт...»	402
Баллада (1)	404
Баллада (2)	406
«Что есть страна, в которой я живу?...»	408
Немецкое кладбище в Тойле	409
«Причуды иноземного стиха...»	411
«Репетиция старости ходит по дому...»	412
«Мой бедный пес — на небесах...»	413
«В тех дружеских домах, в тех родственных, куда ты...» .	415
Из незаконченного	417
1. «Слезится глаз. Под вечер ноет челюсть...»	417
2. «Кожа морщится, будто сводит ее изжогой...» ...	418
Музей поэта	419

Михаил Давидович Яснов

Отчасти

Избранные и новые стихотворения

Выпускающий редактор *С. Батюто.*

Корректор *С. Батюто.*

Компьютерная верстка *В. Фролов.*

Издательский Дом «Петрополис»

197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16,

офис-центр 1, 2 эт., пом. 22

Тел.: (812) 336-50-34

www.petropolis-ph.ru

E-mail: info@petropolis-ph.ru

Подписано в печать 30.10.2012.

Формат 70x108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная.

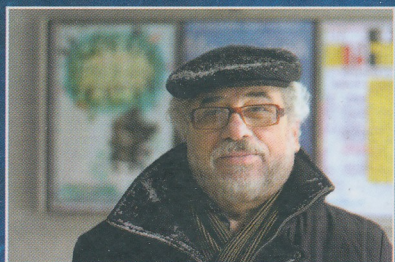
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 13,5. Тираж 500 экз.

Заказ № 127.

Отпечатано в типографии «Град Петров»

ООО ИД «Петрополис»

197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16



Книга стихотворений Михаила Яснова «Отчасти» — итог почти полувековой творческой деятельности автора. Известный детский писатель, переводчик и комментатор

французской поэзии, в лирике Михаил Яснов продолжает традицию петербургской поэзии с ее классическими мотивами городской культуры и свободы личного творчества в европейском литературном контексте.

В книгу включены избранные произведения, написанные в разные годы, а также не публиковавшиеся прежде и новые стихотворения.

ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ МИХАИЛА ЯСНОВА:

- В ритме прибоя (Л., 1986)*
- Неправильные глаголы (М., 1990)*
- Подземный переход (СПб., 1995)*
- Алфавит разлуки (СПб., 1995)*
- Театр теней (СПб., 1999)*
- Замурованный амур (СПб., 2003)*
- Амбидекстр (СПб., 2010)*